

Академик
Е. В. ТАРЛЕ

НАХИМОВ

1942
Издательство Академии Наук СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР

Акад. Е. В. ТАРЛЕ

НАХИМОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1942 ЛЕНИНГРАД





ОТ АВТОРА

Новое издание моей книги о Нахимове выходит в годину великой отечественной войны. Готовя это издание к печати, я все время думал о героях, защитниках Крыма и Севастополя от нынешнего безмерно гнусного, презренного врага. Много раз в последнее время черноморские моряки с гордостью называли себя «нахимовскими детьми», «нахимовскими внуками». И, конечно, если они гордятся этим великим флотоводцем, героем Наварина, Синопа и Севастополя, то не меньше и он гордился бы ими.

Из тогдашних наших противников Англия находится сейчас в дружественных с нами отношениях, в военном союзе и сражается вместе с нами против преступной банды, затеявшей порабощение мира. Другая держава, несчастная Франция, томящаяся под пятой врага, может пока лишь сдавленным голосом выражать нам свои пожелания и надежду на нашу победу, несущую освобождение всему человечеству.

В Англии знают, как высоко ставил Нахимов британский флот, как часто он приводил в пример своим морякам многое, что, по его мнению, им было бы полезно позаимствовать у англичан. В глазах моряков всех наций — имя Нахимова озарено немеркнущей славой, а в оценке героизма нахимовских моряков английские историки ни в малейшей степени не расходятся с нами.

Но как изменилась обстановка, при которой борются доблестные «нахимовские внуки», сравнительно с той, которая окружала их великого деда! Что бы сказал Нахимов, если бы видел, как оснащены теперь русские суда, как вооружены его родные черноморцы, которых он считал своей личной семьей, как они экипированы, как накормлены, какой заботой окружены, какой медицинской помощью обеспечены! Как бы он был счастлив, если бы мог предвидеть, что его личное отношение к матросам, к нижним чинам флота станет общим правилом и что это истинно товарищеское отношение, как он всегда и утверждал, споря с тогдашними генералами, не только не разрушит, а еще более укрепит строгую дисциплину и истинно боевой дух во флоте!

Традиции обожаемого матросами «Павла Степановича» (которого они никогда иначе и не называли ни в глаза, ни за глаза) воскресли и прочно укрепились при советской власти.

Если эта книга попадет в руки наших советских моряков, пусть они знают, что именно о таких читателях, как они, мечтал автор, думая о них с любовью и восхищаясь их бессмертными подвигами.

I[1]

Павел Степанович Нахимов родился в 1803 году в семье небогатых смоленских дворян. Отец его был офицером и при Екатерине вышел в отставку со скромным чином секунд-майора.

Еще не окончились детские годы Нахимова, как он был зачислен в морской кадетский корпус. Учился он блестяще и уже пятнадцати лет отроду получил чин мичмана и назначение на бриг «Феникс», отправлявшийся в плавание по Балтийскому морю.

Тут обнаружилась любопытная черта нахимовской натуры, сразу обратившая на себя внимание его товарищей, а потом сослуживцев и подчиненных. Эта черта, замеченная окружающими в пятнадцатилетнем гардемарине, оставалась господствующей и в седеющем адмирале вплоть до того момента, когда французская пуля пробила ему голову. Охарактеризовать эту черту можно так: морская служба была для Нахимова не важнейшим делом жизни, каким она была, например, для его учителя Лазарева или для его товарищей Корнилова и Истомина, а единственным делом, иначе говоря: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел и просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и слишком большой поглощенности морскими интересами он забыл влюбиться, забыл жениться. Он был фанатиком морского дела, по единодушным отзывам очевидцев и наблюдателей.

Некоторые морские офицеры сравнивали в этом отношении Нахимова с одним из величайших английских флотоводцев — лордом Джервизом (Сент-Винцентом). Но знавшие Нахимова не допускали этого сравнения, по крайней мере поскольку речь шла о личных качествах: Нахимов был прежде всего добрым человеком, совершенно неспособным на усмирительные меры, которыми Джервиз подавил в 1797 году восстание в британском флоте.[2]

---

[1] Предлагаемая работа составлена из материалов соответствующих глав моей двухтомной монографии «Крымская война», подготовленной к печати.

[2] «Морской сборник», 1855, № 11, стр. 10—11.

«Усердие или, лучше сказать, рвение к исполнению своей службы во всем, что касалось морского ремесла, доходило в нем до фанатизма», и он «с восторгом» принял приглашение М. П. Лазарева служить у него на фрегате, названном новым тогда словом «Крейсер».

Три года плавал он на этом фрегате, сначала в качестве мичмана, а с 22 марта 1822 года — в качестве лейтенанта, и здесь-то он сделался одним из любимых учеников и последователей Лазарева. После трехлетнего кругосветного плавания с фрегата «Крейсер» Нахимов перешел (все под начальством Лазарева) в 1826 году на корабль «Азов», на котором и принял выдающееся участие в Наваринском морском бою в 1827 году против турецкого флота. Из соединенной эскадры Англии, Франции и России ближе всех подошел к неприятелю «Азов»; и во флоте говорили, что «Азов» громил турок с расстояния не пушечного выстрела, а пистолетного. Нахимов был ранен. Убитых и раненых на «Азове» было в наваринский день больше, чем на каком-либо ином корабле трех эскадр, но и вреда неприятелю «Азов» причинил больше, чем наилучшие фрегаты командовавшего соединенной эскадрой английского адмирала Кодрингтона.

Так начал Нахимов свое боевое поприще.

Вот что говорит об этих первых блистательных шагах Нахимова близко его наблюдавший моряк-современник:

«В Наваринском сражении он получил за храбрость георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта. Во время сражения мы все любовались «Азовом» и его отчетливыми маневрами, когда он подходил к неприятелю на пистолетный выстрел. Вскоре после сражения я видел Нахимова командиром призового корвета «Наварин», вооруженного им в Мальте со всевозможной морской роскошью и щегольством, на удивление англичан, знатоков морского дела. В глазах наших... он был труженик неутомимый. Я твердо помню общий тогда голос, что Павел Степанович служит 24 часа в сутки. Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться тем, а веровали в его призвание и преданность самому делу. Подчиненные его всегда видели, что он работает больше их, а потому исполняли тяжелую службу без ропота и с уверенностью, что все, что следует им или в чем можно сделать облегчение, командиром не будет забыто» [1].

Двадцати девяти лет отроду он стал командиром только что выстроенного тогда (в 1832 году) фрегата «Паллада», а в 1836 году командиром «Силистрии» и спустя несколько месяцев произведен в капитаны 1-го ранга. «Силистрия» плавала в Черном море, и корабль выполнил за девять лет своего плавания под флагом Нахимова ряд трудных и ответственных поручений.

Лазарев безгранично доверял своему ученику. В 1845 году Нахимов был произведен в контр-адмиралы, и Лазарев сделал

---

[1] «Морской сборник», 1868, № 3, стр. 2—3.

его командиром 1-й бригады 4-й флотской дивизии. Его моральное влияние на весь Черноморский флот было в эти годы так огромно, что могло сравниться только с влиянием самого Лазарева. Дни и ночи Нахимов отдавал службе: то выходил в море, то стоял на Графской пристани в Севастополе, зорко осматривая все входящие в гавань и выходящие из гавани суда. По единодушным записям очевидцев и современников, от него решительно ничто не ускользало, и его замечаний и выговоров страшились все, начиная с матросов и кончая седыми адмиралами, которым Нахимов вовсе не имел ни малейшего права делать замечания по той простой причине, что они были чином выше его. Но Нахимов этим обстоятельством решительно никогда не затруднялся. На пристани, на море была его служба, там же были и все его удовольствия. Денег у него водилось всегда очень мало, потому что каждый лишний рубль он отдавал матросам и их семьям, а лишними рублями у него оказывались те, которые оставались после оплаты квартиры в Севастополе и расходов на стол, не очень отличавшийся от боцманского.

На службу в мирное время он смотрел только как на подготовку к войне, к бою, к тому моменту, когда человек должен полностью проявить все свои моральные силы. Еще во время кругосветного плавания лейтенант Нахимов однажды чуть не погиб, спасая упавшего в море матроса; в 1842 году командир «Силистрии» Нахимов бросился без всякой нужды в самое опасное место, когда на «Силистрию» наскочил корабль «Адрианополь». А когда офицеры недоумевали, зачем он так дразнит судьбу, — Нахимов отвечал: «В мирное время такие случаи редки, и командир должен ими пользоваться. Команда должна видеть присутствие духа в своем командире, ведь, может быть, мне придется итти с ней в сражение».

Ведя себя так и высказывая такие мысли, Нахимов шел по стопам своего учителя и начальника Михаила Петровича Лазарева, главного командира Черноморского флота.

М. П. Лазарев создал в морском ведомстве того времени свою особую школу, свою традицию, свое направление, ровно ничего общего не имевшее с господствовавшим в остальном флоте, и его ученики — Корнилов, Нахимов, Истомин — продолжили и упрочили эту традицию. Лазарев требовал от своих офицеров моральной высоты, о которой николаевский командный состав в своей массе никогда и не помышлял. Он требовал такого обращения с матросами, которое готовило бы из них дееспособных воинов, а не игрушечных солдатиков для забавы «высочайших» лиц на смотрах и парадах; телесное наказание, царившее тогда во всех флотах, не было отменено и лазаревской школой, но оно стало на черноморских судах редкостью. Внешнее чинопочитание было на судах, управляемых лазаревскими учениками, сведено к минимуму, и сухопутные офицеры и генералы в Севастополе жаловались, что адмирал Нахимов разрушает дисциплину. Лазарев, Нахимов, Корнилов успели внедрить в мат-

российский состав настоящую любовь к России, сознательное желание защищать ее и бороться за нее.

Лазарев, не доживший до Крымской войны, Нахимов, Корнилов, Истомин и им подобные до такой степени не походили на командиров тогдашнего общепринятого, общеобязательного, можно сказать, образца, что это бросалось в глаза даже очень далеко стоявшим от флота людям, например знаменитому профессору Московского университета Т. Н. Грановскому, слова которого я приведу в своем месте.

Но и в этой лазаревской школе моряков Нахимов занял особое место. Был он необыкновенный добряк по натуре, — это во-первых; а во-вторых, как уже сказано, он был в полном смысле слова фанатиком морской службы, он не имел ни в молодости, ни в зрелом возрасте семьи, не имел «сухопутных» друзей, не имел никаких привязанностей, кроме как на кораблях и около кораблей, потому что для него Севастополь, Петербург, Лондон, Архангельск, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Сухум-Кале были не города, а лишь якорные стоянки. Все эти его свойства сделали то, что на матросов он стал смотреть, как на свою единственную, правда, большую, семью.

Когда он, начальник порта, адмирал, командир больших эскадр, выходил на Графскую пристань в Севастополе, там происходили любопытные сцены, одну из которых, со слов очевидца, князя Путятина, очень живо передает лейтенант П. И. Белавенец. Утром Нахимов приходит на пристань. «Там, сняв шапки, уже ожидают адмирала старики, отставные матросы, женщины и дети — все обитатели Южной бухты из севастопольской матросской слободки. Увидев своего любимца, эта ватага мигом, безбоязненно, но с глубочайшим почтением окружает его, и, перебивая друг друга, все разом обращаются к нему с просьбами... «Постойте, постойте-с, — говорит адмирал, — всем разом можно только ура кричать, а не просьбы высказывать. Я ничего не пойму-с. Старик, надень шапку и говори, что тебе надо».

«Старик-матрос, на деревянной ноге и с костылями в руке, привел с собой двух маленьких девочек, своих внучек, и прошамкал, что он с малютками одинок, хата его продырявилась, а починить некому. Нахимов обращается к адъютанту: «...Прислать к Позднякову двух плотников, пусть они ему помогают». Старик, которого Нахимов вдруг назвал по фамилии, спрашивает: «А вы, наш милостивец, разве меня помните?» — «Как не помнить лучшего маляра и плясуна на корабле «Три святителя»... «А тебе что надо?» — обращается Нахимов к старухе. Оказывается, она — вдова мастера из рабочего экипажа — голодает. «Дать ей пять рублей!» — «Денег нет, Павел Степанович!» — отвечает адъютант, заведывавший деньгами, бельем и всем хозяйством Нахимова. «Как денег нет? Отчего нет-с?» — «Да все уже прожиты и розданы!» — «Ну дайте пока из своих». Но у адъютанта тоже нет таких денег. Пять рублей, да еще в провинции, были тогда очень крупной суммой. Тогда Нахимов обращается

к мичманам и офицерам, подошедшим к окружающей его толпе: «Господа, дайте мне кто-нибудь взаймы пять рублей!» И старуха получает ассигнованную ей сумму. Нахимов брал в долг в счет своего жалованья за будущий месяц и раздавал направо и налево. Этой его манерой иногда и злоупотребляли. Но, по воззрениям Нахимова, всякий матрос, уже в силу этого своего звания, имел право на его кошелек.

Нахимов настойчиво старался внушить подчиненным ему офицерам те идеи, которыми сам он был одушевлен и которые не походили на общепринятые тогда в этой среде воззрения. «Мало того, что служба представится нам в другом виде, — говорил Нахимов, — да сами-то мы совсем другое значение получим на службе, когда будем знать, как на кого нужно действовать. Нельзя принять поголовно одинаковую манеру со всеми. Подобное однообразие в действиях начальника показывает, что нет у него ничего общего со своими подчиненными и что он совершенно не понимает своих соотечественников. А это очень важно». Офицеры, «глубоко презирающие сближение со своими соотечественниками-простолюдинами», не найдут должного тона «А вы думаете, что матрос не заметит этого? Заметит лучше, чем наш брат! Мы говорить умеем лучше, чем замечать, а последнее уже их дело. А каково пойдет служба, когда все подчиненные будут наверно знать, что начальники их не любят и презирают их? Вот настоящая причина, что на многих судах ничего не выходит и что некоторые молодые начальники одним только страхом хотят действовать... Страх подчас хорошее дело, да согласитесь, что ненатуральная вещь — несколько лет работать напропалую ради страха. Необходимо поощрение сочувствием; нужна любовь к своему делу-с, тогда с нашим лихим народом можно такие дела делать, что просто чудо. Удивляют меня многие молодые офицеры: от русских отстали, к французам не пристали, на англичан также не похожи; своих презирают, чужому завидуют, своих выгод совершенно не понимают. Это никуда не годится!»

Для Нахимова не подлежало сомнению, что классовое чванство офицеров — гибельное дело для службы, и он это открыто высказывал. «Пора нам перестать считать себя помещиками, а матросов крепостными людьми!» И снова и снова он повторяет свою излюбленную мысль: «Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него действуют. Матрос управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля, матрос бросится на абордаж, если понадобится. Все сделает матрос, если мы, начальники, не будем эгоистичны, ежели не будем смотреть на службу, как на средство для удовлетворения своего честолюбия, а на подчиненных, как на ступени для собственного возвышения».

Матросы — основная военная сила флота. «Вот кого нам нужно возвышать, учить, возбуждать в них смелость, геройство, ежели мы не себялюбивы, а действительные слуги отечества». Нахимов вспоминает знаменитую победу Нельсона над француз-

ским и испанским флотом 21 октября 1805 года. «Вы помните Трафальгарское сражение? Какой там был маневр, — вздор-с! Весь маневр Нельсона заключался в том, что он знал слабость неприятеля и свою силу и не терял времени, вступая в бой. Слава Нельсона заключается в том, что он постиг дух народной гордости своих подчиненных и одним простым сигналом возбудил запальчивый энтузиазм в простолюдинах, которые были воспитаны им и его предшественниками. Вот это-то воспитание и составляет основную задачу; вот чему я посвятил себя, для чего тружусь неусыпно и, видимо, достигаю своей цели: матросы любят и понимают меня. Я этою привязанностью дорожу больше, чем отзывом чванных дворянчиков-с! У многих командиров служба не клеится на судах оттого, что они неверно понимают значение дворянина и презирают матросов, забывая, что у мужиков есть ум, душа и сердце так же, как у всякого другого»[1].

Нахимовские подчиненные склонны были (совершенно несправедливо) считать его англоманом не только потому, что он получал и постоянно читал газету «Таймс», но и потому, что многое в порядках английского флота ему нравилось. «Нахимов высоко ставил английский флот и хвалил английских моряков за то, что они занимаются своим делом, и при этом ворчал на наших моряков, которые выходят из морского корпуса недоучками, забрасывают свои учебные книги и морской службой совсем не занимаются», — читаем в рукописи Ухтомского[2].

Нахимов просто отказывался понять, что у морского офицера может быть еще какой-нибудь интерес, кроме службы. «Он говорил, что необходимо, чтобы матросы и офицеры постоянно были заняты, что праздность на судне не допускается, что ежели на корабле работы идут хорошо, то нужно придумывать новые... Офицеры тоже должны быть постоянно заняты. Есть свободное время, — пусть занимаются с матросами обучением грамоте или пишут за них письма на родину». Ухтомский, начинавший службу под начальством Нахимова, передает еще: «Все ваше время и все ваши средства должны принадлежать службе, ораторствовал Павел Степанович: например, зачем мичману жалованье? Разве только затем, чтобы лучше выкрасить и отделать вверенную ему шлюпку или при удачной шлюпочной гонке дать гребцам по чарке водки, — иначе офицер от праздности или будет пьянствовать, или станет картежником, или будет развратничать, а ежели вы и от натуры ленивы, сибариты, то лучше выходите в отставку»[3]. Тратя все свое адмиральское жалованье не на себя, а на корабль и на матросов, Нахимов искренно не понимал, почему бы и мичманам не делать того же.

---

[1] «Морской сборник», 1856, «Фрегат Бальчик»; «Морской сборник» 1868, март, стр. 16—18.

[2] Архив Севастопольского музея обороны, 5677, VII. Воспоминания Ухтомского (подлинная рукопись).

[3] Там же.

Замечательно, что близко наблюдавшие Нахимова не могли говорить впоследствии ни о Синопе, ни о Севастополе, не подчеркивая огромного значения личного влияния адмирала на свою команду, объясняя именно этим его успех.

«Синоп, поразивший Европу совершенством нашего флота, оправдал многолетний образовательный труд адмирала М. П. Лазарева и выставил блестящие военные дарования адмирала П. С. Нахимова, который, понимая черноморцев и силу своих кораблей, умел управлять ими. Нахимов был типом моряка-воина, личность вполне идеальная... Доброе, пылкое сердце, светлый, пытливый ум, необыкновенная скромность в заявлении своих заслуг. Он умел говорить с матросом по душе, называя каждого из них при объяснении другом, и был действительно для них другом. Преданность и любовь к нему матросов не знали границ. Всякий, кто был на севастопольских бастионах, помнит необыкновенный энтузиазм людей при ежедневных появлениях адмирала на батареях. Истомленные донельзя матросы, а с ними и солдаты воскресали при виде своего любимца и с новой силой готовы были творить и творили чудеса... Это секрет, которым владели немногие, только избранники, и который составляет душу войны... Лазарев поставил его образцом для черноморцев»[1].

Наступил 1853 год. Надвинулись сразу навеки памятные грозные события мировой истории, — Нахимов со своими матросами оказался на посту.

II

Черные тучи сгустились катастрофически быстро и обложили со всех сторон политический горизонт. Начинается война с Турцией, позиция Наполеона III и Пальмерстона делается все более угрожающей. И в Петербурге понемногу крепнет сознание, что живые опасения наместника Кавказа князя М. С. Воронцова имеют реальнейшее основание и отнюдь не объясняются только старостью умного и лукавого Михаила Семеновича. Если турки, а за ними французы и англичане в самом деле подадут во-время существенную помощь Шамилю, то Кавказ для России будет потерян и попадет в руки союзников. Нужного количества войска на Кавказе нет, — это одно. А другое: турецкая эскадра снабжает восточное кавказское побережье оружием и боеприпасами. Отсюда вытекают два непосредственных задания русскому Черноморскому флоту: во-первых, в самом спешном порядке перевезти более или менее значительные военные подкрепления из Крыма на Кавказ и, во-вторых, — обезвредить разгуливающие в восточной части Черного моря турецкие военные суда.

Оба эти дела и сделал Нахимов.

13 сентября 1853 года в Севастополе было получено экстренное приказание немедленно перевезти из Севастополя в Анакрию

[1] Капитан-лейтенант Афанасьев, «Ответ моряка «Русскому архиву», «С.-Петербургские ведомости», 1868, 26 января, № 25.

пехотную дивизию с артиллерией. На Черном море было очень неспокойно не только вследствие равноденственных сентябрьских бурь, но и вследствие близкой войны с Турцией и упорных слухов об угрожающей близости французских и английских судов к проливам.

Нахимов взял на себя эту труднейшую операцию. Уже через четыре дня после получения приказания не только все отобранные им суда были совершенно готовы к отплытию, но на них уже находились и разместились в полном порядке все назначенные войска: 16 батальонов пехоты с двумя батареями — 16 393 человека, 824 лошади и все необходимые грузы. 17 сентября Нахимов вышел в море, а ровно через семь суток, 24 сентября, пришел утром в Анакрию, и в 5 часов вечера в тот же день он уже закончил высадку всех войск с вооружением на берег. Для этой блистательно выполненной в очень бурную погоду операции у Нахимова было в распоряжении лишь 14 парусных кораблей (из них два фрегата), 7 пароходов и 11 транспортных судов. Войска были доставлены в наилучшем состоянии: больных солдат оказалось всего лишь 7 человек, а из матросов эскадры — 4 человека. Моряки-специалисты называют этот переход «баснословно счастливым», исключительным в военно-морской истории, и для сравнения указывают, что англичане в свое время перевезли подобное же количество войск более чем на двухстах военных и транспортных судах[1].

Покончив с одной задачей, Нахимов взялся за другую, еще гораздо более опасную и сложную: найти на Черном море турецкую эскадру и сразиться с ней. Но тут он оказался флотоводцем, база которого находится не в его руках, а зависит от человека, вовсе не желающего считаться с критическим положением адмирала, рыщущего по бурному морю в поисках неприятеля.

Князь Меншиков, главнокомандующий Крымской армией и Черноморским флотом, был фактически морским министром, но никогда не был моряком, никогда не управлял кораблем и понятия не имел, даже самого отдаленного, о морских боях. Вот почему, конечно, ему и в голову не могло притти самому выйти в море и среди октябрьских шквалов искать турок, чтобы с ними сразиться. И что бы он ни писал Корнилову, якобы желая «назначения пункта соединения», никуда он ни для каких «соединений» с Корниловым ехать из Севастополя не собирался. У него был Нахимов, уже крейсировавший около Анатолийского берега, и был Корнилов, которого князь и отправил в море 28 октября. По обыкновению (когда дело касалось войны и военных действий), Меншиков предсказал нечто диаметрально противоположное тому, что случилось на самом деле: он писал Горчакову за 16 дней до Синопа, что эскадры Корнилова и На-

[1] «Морской сборник», 1868, март, стр. 9 (статья капитана 1-го ранга Асланбекова).

химова «вероятно» никого в море не встретят, кроме нескольких транспортных или паровых судов, да и те укроются в портах.

А на самом деле уже 5 ноября Корнилов встретил и взял с бою турецкий (египетский) пароход «Перваз-Бахре», шедший из Синопа. Затем Корнилов на «Владимире» вернулся в Севастополь, а Новосильскому приказал найти Нахимова и усилить его эскадру двумя кораблями («Ростислав» и «Святослав») и бригом «Эней». Новосильский 7 ноября встретился с Нахимовым, исполнил, что было приказано, и вернулся в Севастополь.

Когда Нахимов дал знать о том, что сил турок в Синопе, по дополнительным его наблюдениям, больше, чем он раньше доносил, Меншиков довольно поздно сообразил всю опасность крейсировки Нахимова возле Синопа и послал ему подкрепление. Но сделано это было поздно. Кое-что Нахимов получил, правда, помимо Меншикова, от Корнилова, отделившего от своей эскадры и пославшего к нему Новосильского, но все-таки ни одного парового судна у него под Синопом не оказалось, а спешно вышедший с эскадрой, где были три парохода, Корнилов, как увидим, опоздал и подоспел в Синопскую бухту, когда уже сражение окончилось.

Тут Меншиков действовал так, как и всегда он действовал, приходилось ли ему выступать на поприще дипломата или в качестве полководца. Полнейшее, доходившее до странности чувство безответственности было одной из самых характерных его черт. Не имея и тени дипломатических дарований, он берется за самые трудные и опасные поручения, едет в 1853 году в Константинополь и навязывает там России бедственную войну.

Меншиков не только не стеснялся признаваться в абсолютной своей неспособности к переговорам, которые взялся вести в Константинополе, но кокетничал и рисовался этим. «Я тут должен заниматься ремеслом, к которому у меня очень мало способностей, именно: ремеслом человека, ведущего с неверными переговоры о церковных материях», — шутил он в письме к австрийскому начальнику штаба Гессу и прибавлял тут же насквозь лживое выражение «надежды», что это последняя его услуга на пользу отечеству: «Я питаю надежду, что это для меня будет последним актом деятельности в моей очень полной впечатлениями жизни, требующей покоя[1]. Он прикидывается, будто его против его желания послали в Константинополь, и пишет это как раз перед тем, как, тоже без колебаний, с еще более преступным легкомыслием и с такими же исключительно личными мотивами честолюбия, он принял пост главнокомандующего русской армией и флотом.

Все губительные несчастья, которые Меншиков навлек на Россию, ни в малейшей степени его не смущают. Небрежное высокомерие, презрительная насмешливость, всегдашнее стремление

[1] Военно-морской архив, фонд Меншикова, папка 67, Меншиков — Гессу, le 13 (25) avril 1853.

замечать в людях лишь самое худое, совершенно неосновательное преувеличенное представление о глубине и остроте собственной государственной мысли — все эти свойства были воспитаны в нем пожизненным пребыванием среди придворных ничтожеств, над которыми он очень зло и часто остроумно изощрялся. Но понять, например, что как военный сам-то он — пигмей сравнительно с такими людьми, как Нахимов, Корнилов, Тотлебен, Хрулев, Васильчиков, или что он как дипломат — совершенный нуль сравнительно хотя бы с Алексеем Орловым или даже с такой посредственностью, как барон Бруннов, или, тем более, сравнительно со Стрэтфордом-Рэдклифом — это Александру Сергеевичу Меншикову и в голову никогда не приходило. При этом была у него еще одна убийственно вредная черта: его бесспорный и тонкий ум был каким-то вялым, недейственным, ни малейшей энергии мысли, не говоря уже об энергии волевой, у него не было. Все будет хорошо, а если выйдет и нехорошо, — тоже беда небольшая, все на белом свете поправимо, особенно если у кого есть майораты, аренды, пенсии и столько орденов, что уже не хватает на груди места, куда их вешать.

Пошел Нахимов искать турок по морю? Верно, не найдет. Если найдет, тем хуже для него. Корнилов просит послать поскорее Нахимову подмогу? Ладно, можно и послать. Не поспеет, — что же, как-нибудь Нахимов из беды вывернется. А не вывернется и потонет, — проживем и без Нахимова. Вот какого рода ход мысли всегда, без единого исключения, был присущ Меншикову. Солдаты не просто были к нему равнодушны, как они, например, были равнодушны к его преемнику по высшему командованию во время Севастопольской обороны Горчакову, которого почти вовсе не знали. Они определенно не любили Меншикова, правильно чуя, что этот высокомерный барин нисколько ими и их судьбой не интересуется и не занимается.

Таков был человек, в руках которого была верховная власть над Черноморским флотом и над единственной базой нахимовской эскадры — Севастополем. И не вина князя Меншикова, если Нахимов оказался победителем, а не разгромленным. О Меншикове нам еще придется говорить дальше, а теперь обратимся к Нахимову.

С конца октября, все время при очень бурной погоде, Нахимов крейсировал между Сухумом и той частью турецкого (анатолийского) побережья, где главной гаванью является Синоп. Были получены сведения, что на этот раз турки намерены высадить на кавказском берегу уже не только боеприпасы для горцев, но целый десантный отряд. У Нахимова было сначала, после встречи 5 ноября с Новосильским, пять больших кораблей, на каждом из которых имелось по 84 орудия: «Императрица Мария», «Чесма», «Ростислав», «Святослав» и «Храбрый», и, кроме того, фрегат «Коварна» и бриг «Эней». Еще 2 (14) ноября вечером приказом по эскадре Нахимов объявил, что имеет в виду сразиться с неприятелем. Этот приказ живо напоминает,

что за двадцать шесть лет, прошедших со времени Наваринской битвы, тактические приемы Нахимова нисколько не изменились и что он попрежнему считает, так же как и его учитель, командир «Азова» при Наварине М. П. Лазарев, наиболее целесообразным, не щадя себя, подходить к неприятелю не на орудийный, а на «пистолетный» выстрел. Вот как кончался приказ, прочитанный командам вечером 2 ноября: «Не распространяясь в наставлениях, я выскажу свою мысль, что в морском деле близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика. Уведомляю командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело».

Но турки не показывались. Нахимов уже 3 ноября знал, что из Севастополя вышел, тоже для поисков турецкого флота, Корнилов с шестью кораблями. 5-го числа Корнилов отделил от своей эскадры Новосильского, который вечером того же 5 ноября встретился с эскадрой Нахимова. Именно Новосильский, как сказано, и отделил от своей эскадры Нахимову «Ростислава» и «Святослава» взамен кораблей, потрепанных бурей и отправленных Нахимовым в Севастополь для починки. 8 ноября разразилась жестокая буря, и Нахимов отправил опять четыре корабля в Севастополь чиниться. Положение было довольно критическое, потому что судов у него оставалось мало, а по морю бродили не очень далеко турецкие эскадры. Очень сильный ветер продолжался и после бури 8-го числа. Нахимов подошел к Синопу 11 ноября и немедленно отрядил из своей эскадры бриг «Эней» с известием, что на Синопском рейде стоит большая турецкая эскадра (семь фрегатов, два парохода, два корвета, один шлюп). Положение Нахимова было в этот момент более чем затруднительным. Но он решил со своими малыми силами все-таки блокировать гавань и ждать скорейшей присылки подкреплений из Севастополя. Он просил у Меншикова немедленной присылки отправленных для починки кораблей «Храброго» и «Святослава», фрегата «Коварна» и парохода «Бессарабия», а также выражал недоумение, почему не присылают ему фрегат «Кулевчи», который «больше месяца» стоит в Севастополе. Нахимов, которого голословно упрекали, что он слишком привык к парусному флоту и будто бы недооценил значение флота парового, вот что писал того же 11 (23) ноября Меншикову: «В настоящее время в крейсерстве пароходы необходимы, и без них, как без рук; если есть в Севастополе свободные, то я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство прислать ко мне в отряд по крайней мере два».

Нахимов во-время получил подмогу, и 17 (29) ноября у него было шесть больших кораблей («Мария», «Париж», «Три святителя», «Константин», «Ростислав» и «Чесма») и два фрегата («Кагул» и «Кулевчи»). Эскадра Нахимова в этот момент могла дать с одного борта залп весом в 378 пудов 13 фунтов. Орудий у Нахимова было 716, значит, при стрельбе с одного борта — 358.

У турок было семь фрегатов, три корвета, два парохода, два транспорта и один шлюп — в общем 472 орудия, то есть с одного борта 236 орудий.

Нахимов, как только подошли подкрепления, решил немедленно войти в Синопскую гавань и напасть на турецкий флот.

Покойный генерал Зайончковский, в полном согласии с морскими специалистами, так оценивает распоряжения адмирала пред Синопом: «В действиях Нахимова обнаружилось то редкое соединение твердой решимости с благоразумной осторожностью, то равновесие ума и характера, которое составляет исключительную принадлежность великих военачальников»[1]. Нахимов, долго крейсируя перед Синопом, каждый день мог погибнуть, потому что неоднократно оказывалось так, что у него судов было гораздо меньше, чем у турок. И тут больше всего сказалась его железная выдержка и уверенность в себе и в команде.

В Синопе стояла эскадра Османа-паши. У Османа было, как сказано, семь фрегатов, три корвета, два парохода, два транспорта и один шлюп.

Осман уже с 10 (22) ноября знал, что русская эскадра явно сторожит его у самого выхода из Синопского рейда, он знал, что она усилилась, и он уже 12 (24) ноября отправил очень тревожное донесение в Константинополь, прося немедленно подкреплений. Решид-паша сейчас же сообщил об этом главному руководителю турецкой политики британскому послу лорду Стрэтфорду-Рэдклифу. Но это уже было поздно — 17 (29) ноября, то-есть за сутки до того, как Нахимов вошел в Синопскую бухту. Даже если бы Константинополь решил оказать помощь, даже если бы Стрэтфорд немедленно приказал английскому адмиралу, стоявшему у Дарданелл, итти в Синоп (чего Стрэтфорд делать своей властью не имел права), даже если бы адмирал его послушался, — все равно помощь запоздала бы. Участь турецкого флота решена была в несколько часов.

В сущности, решив напасть на турецкий флот, Нахимов рисковал очень серьезно. Береговые батареи у турок в Синопе были хорошие, орудия на судах также были в исправности. Но уже давно, еще с конца XVI века, турецкий флот, некогда один из самых грозных и дееспособных в мире, не имел в решающие моменты своего существования сколько-нибудь способных адмиралов. Так оказалось и в фатальный для Турции день Синопа. Осман-паша расположил как бы веером свой флот у самой набережной города: набережная шла вогнутой дугой, и линия флота тоже оказалась вогнутой дугой, закрывавшей собой если не все, то многие береговые батареи. Да и расположение судов было, естественно, таково, что они могли встретить Нахимова только одним бортом: другой был обращен не к морю, а к городу Синопу, то есть был бесполезен.

---

[1] «Восточная война», т. II, ч. 1, стр. 303.

На рассвете 18 (30) ноября 1853 года русская эскадра оказалась километрах в пятнадцати от Синопского рейда.

В 9 часов утра 18 (30) ноября Нахимов на корабле «Мария» и рядом. Новосильский на другом 120-пушечном корабле «Париж», а за ними, в двух колоннах, остальные суда пошли к Синопу. В половине первого часа дня раздался первый залп турецких батарей против эскадры Нахимова, входившей на рейд. Корабль Нахимова шел впереди и ближе всех стал к турецкому флоту и береговым батареям. Нахимов стоял на капитанской рубке «Марии» и смотрел в подзорную трубку на развернувшийся сразу артиллерийский бой. Русская победа определилась уже спустя два часа с небольшим. Турецкая артиллерия осыпала снарядами русскую эскадру, успела причинить некоторым кораблям большие повреждения, но не потопила ни одного. А диспозиция Нахимова была исполнена в точности, и его приказы и наставления о том, как держаться в морском бою, принесли громадную пользу. Корабль «Константин» оказался в опасном положении и был окружен неприятельскими судами. Тогда «Чесма» вдруг вовсе перестала отстреливаться от направленного на нее огня и направила полностью весь огонь своих орудий против особенно яростно громившего «Константина» турецкого фрегата «Навек-Бахра». Фрегат «Навек-Бахра», поражаемый огнем «Константина» и «Чесмы», взлетел на воздух, притом так, что груда его обломков и все тела экипажа упали на береговую батарею, загромоздили ее и этим вывели временно из строя.

Подобное же положение, когда тоже помогло внушение Нахимова о взаимной поддержке, повторилось спустя полчаса с кораблем «Три святителя», у которого был перебит шпринг. Корабль беспомощно стал вращаться, и его отнесло ветром под сильную береговую батарею, которая могла его потопить и произвела на нем сильные разрушения. Но тут «Ростислав», сам находясь под сильнейшим огнем, тоже сразу прекратил свои ответы на обстрел, а весь свой огонь направил на ту самую турецкую батарею № 6, которая расстреливала «Трех святителей». Не только корабль «Три святителя» был спасен, но вся батарея № 6 была сама снесена русским огнем с лица земли. Правда, это случилось лишь в начале четвертого часа дня и обошлось недешево «Ростиславу»: он получил тяжелые повреждения и чуть сам не взлетел на воздух, так как на нем возник пожар и искры подбирались к крюйт-камере с ее запасами пороха, но огонь удалось потушить. С этой дуэлью между «Ростиславом» и турецкой береговой батареей № 6 связано бегство «Таифа» с места сражения.

Нужно заметить, что присутствие в составе эскадры Османа-паши двух паровых судов очень озабочивало Нахимова, у которого в распоряжении ни одного парохода не было, а были только парусные суда. Нахимов имел все основания опасаться, что быстроходный 20-пушечный пароход «Таиф», удобоподвиж-

ный, находящийся притом под управлением не турка, а прекрасного моряка-англичанина, может очень и очень себя проявить в битве, где большим парусным судам поворачиваться и маневрировать не так-то удобно и легко. Нахимов настолько считался с этим, что посвятил пароходам Османа-паши особый (9-й) пункт своей диспозиции, отданной в его приказе накануне боя вечером 17 ноября: «фрегатам «Кагул» и «Кулевчи» во время действия остаться под парусами для наблюдения за неприятельскими пароходами, которые, без сомнения, вступят под пары и будут вредить нашим судам по выбору своему».

Но это, совершенно логичное и, казалось бы, безусловно правильное предположение Нахимова не оправдалось нисколько. Случилось нечто совсем неожиданное. Адольфус Слэд, командир «Таифа», мог сколько угодно переименовываться в Мушавер-пашу, но он, как был до своего превращения в поклонника пророка истым, бравым англичанином, а вовсе не турком, так англичанином и остался, и служил он в турецком флоте не во славу Аллаха и Магомета, а во славу лорда Стрэтфорда-Рэдклифа. Свое пребывание в составе эскадры Османа-паши он понимал по-своему. Если бы, например, Новосильский или капитан Кутров, командир «Трех святителей», или капитан Кузнецов, командир «Ростислава», или Микрюков, командир «Чесмы», вздумал поступить среди боя так, как поступил этот Мушавер-паша, то Нахимов без колебаний повесил бы его на рее. И если бы Мушавер-паша был только Мушавер-пашой, а не был еще урожденным Адольфусом Слэдом, то, может быть, нашлась бы в свое время и для него подходящая рея в турецком флоте.

Сделал же он следующее. Будучи превосходным, опытным командиром (единственным в этом отношении во всей эскадре Османа-паши), Слэд уже с самого начала битвы увидел, что турецкому флоту грозит поражение, а так как лордом Стрэтфордом ему было сказано наблюдать и доносить, а вовсе не класть свою голову в борьбе за полумесяц, то, убедившись уже вскоре после начала битвы в неминуемой и сокрушающей победе Нахимова, он, искусно сманеврировав в самом опасном месте боя между «Ростиславом» и береговой батареей № 6, вышел из рейда и помчался на запад, в Константинополь, забыв, очевидно, за множеством дел, уведомить об этом своем внезапном бегстве своего прямого начальника Османа-пашу, которого покинул, таким образом, в самый трудный момент. За ним вдогонку полетели на всех парусах фрегаты «Кагул» и «Кулевчи», которые, как сказано, именно и были предназначены Нахимовым по диспозиции для наблюдения за «Таифом». Но им было не угнаться за быстрым пароходом, да еще превосходно управляемым.

Слэд несколько раз менял курс, круто изменял направление, зная, как трудно большим парусникам следовать за всеми его зигзагами. В конце концов «Таиф» их оставил далеко позади и пропал на горизонте. Но именно тут он чуть не погиб: его

чуть-чуть не потопила эскадра Корнилова, как раз спешившая из Севастополя на помощь Нахимову. Корнилов открыл огонь по «Таифу». Командир Слэд стал отстреливаться и сильно повредил напавший на него пароход «Одессу». Выведя на момент «Одессу» из боя, Слэд помчался на всех парах дальше, держа румб на Константинополь. Корнилов отрядил за ним два других парохода своей эскадры, «Крым» и «Херсонес», но они после долгой погони должны были отказаться от своей задачи. «Таиф» прибыл в Константинополь.

Эскадра Корнилова, еще подходя только к Синопскому рейду, могла убедиться, что она опоздала. Сражение шло к концу. Можно сказать, что бой, начавшийся в половине первого, привел к полному разгрому турок уже около трех — трех с четвертью часов дня, а от трех с четвертью часов до четырех происходило лишь добивание остатков. Один за другим грохотали страшные взрывы на уже искалеченных турецких судах. То русские бомбы попадали в турецкие крюйт-камеры, то сами турки, покидая свои суда, окончательно прибитые к берегу, перед своим бегством поджигали пороховые камеры. Береговые батареи, уже погибая, все еще продолжали стрельбу из редких уцелевших своих орудий. Но и они в начале 5-го часа пополудни умолкли. Русская эскадра за четыре часа (собственно, с двенадцати с половиной до четырех с четвертью часов) выпустила без малого 17 тысяч снарядов (16 800). Стрельба нахимовских комендоров при этом была всегда наредкость метка.

Турецкий флот, застигнутый Нахимовым, погиб полностью — не уцелело ни одного судна, и погиб он почти со всей своей командой. Были взорваны и превратились в кучу окровавленных обломков четыре фрегата, один корвет и один пароход «Эрекли», который тоже мог бы уйти, пользуясь быстроходностью, подобно «Таифу», но на нем командовал турок, и он не последовал примеру Слэда. Были зажжены самими турками пробитые и искалеченные другие три фрегата и один корвет. Остальные суда, помельче, погибли тут же. Турки считали потом, что из состава экипажа погибло около 3 тысяч с лишком человек. В английских газетах упорно приводилась цифра 4 тысячи.

Перед началом сражения турки были так уверены в победе, что они уже наперед посадили на суда войска, которые должны были взойти на борт русских кораблей по окончании битвы [1].

Турецкая артиллерия в Синопском бою была слабее нашей, если считать только орудия на судах (472 пушки против русских 716), но действовала она энергично. Нелепейшая расстановка судов турецкого флота обезвредила, к счастью для Нахимова, некоторые из очень сильных береговых турецких батарей, но все-таки две батареи нанесли русским судам большой вред. Некото-

---

[1] Военно-морской архив, фонд Меншикова, папка 178—А, Sévastopol. 1853. Черновик письма Меншикова к Алексею Орлову.

рые корабли вышли из боя в тяжком состоянии, но ни один не потонул.

Когда опоздавшая эскадра Корнилова входила на Синопский рейд, ликующие крики команд обеих эскадр слились воедино. Некоторые из погибающих турецких судов выбросились на берег, где начались пожары и взрывы на батареях. Часть города пылала, все власти и сухопутный гарнизон Синопа в панике бежали в горы, подымающиеся в окрестностях. Население бросилось в бегство еще в начале боя. Наступил вечер.

Вот картина, представшая перед глазами экипажа корниловской эскадры, когда она вошла в Синопскую бухту: «Большая часть города горела, древние зубчатые стены с башнями эпохи средних веков выделялись резко на фоне моря пламени. Большинство турецких фрегатов еще горело, и когда пламя доходило до заряженных орудий, происходили сами собой выстрелы, и ядра перелетали над нами, что было очень неприятно. Мы видели, как фрегаты один за другим взлетели на воздух. Ужасно было видеть, как находившиеся на них люди бегали, метались на горевших палубах, не решаясь, вероятно, кинуться в воду. Некоторые, было видно, сидели неподвижно и ожидали смерти с покорностью фатализма. Мы замечали стаи морских птиц и голубей, выделяющихся на багровом фоне озаренных пожаром облаков. Весь рейд и наши корабли до того ярко были освещены пожаром, что наши матросы работали над починкой судов, не нуждаясь в фонарях. В то же время весь небосклон на восток от Синопа казался совсем черным...».

Корнилов увидел, что нахимовские суда, многие с перебитыми и поваленными мачтами, продолжали перестрелку, добивая те немногие суда турок, которые еще не затонули и не взорвались. В. И. Барятинский был при встрече Корнилова с Нахимовым. «Мы проходим совсем близко вдоль линии наших кораблей, и Корнилов поздравляет командиров и команды, которые отвечают восторженными криками ура, офицеры машут фуражками. Подойдя к кораблю «Мария» (флагманскому Нахимова), мы садимся на катер нашего парохода и отправляемся на корабль, чтобы его поздравить. Корабль весь пробит ядрами, ванты почти все перебиты, и при довольно сильной зыби мачты так раскачивались, что угрожали падением. Мы поднимаемся на корабль, и оба адмирала кидаются в объятия друг друга, мы все тоже поздравляем Нахимова. Он был великолепен: фуражка на затылке, лицо обагрено кровью, новые эполеты, нос — все красно от крови, матросы и офицеры, большинство которых мои знакомые, все черны от пороха»[1]. Пальто Нахимова, которое он перед боем снял и повесил тут же на гвоздь, было изорвано турецким ядром. Среди пленных находился и сам флагман турецкой эскадры

---

[1] «Русский архив», 1905, № 1, стр. 98. Из воспоминаний кн. В. И. Барятинского.

Осман-паша, у которого была перебита нога. Рана была очень тяжелая. В личной храбрости у старого турецкого адмирала недостатка не было, так же как и у его подчиненных. Но одного этого качества оказалось мало, чтобы устоять от нахимовского нападения.

23 ноября, после бурного перехода через Черное море, эскадра Нахимова причалила в Севастополе.

Все население города, уже узнавшее о блестящей победе, встретило победоносного адмирала. Нескончаемые «ура, Нахимов!» неслись также со всех судов, стоявших на якоре в Севастопольской бухте. В Москву, в Петербург, на Кавказ к Воронцову, на Дунай к Горчакову полетели ликующие известия о сокрушительной русской морской победе. «Вы не можете себе представить счастье, которое все испытывали в Петербурге по получении известия о блестящем Синопском деле. Это поистине замечательный подвиг», — так поздравлял Василий Долгоруков, военный министр, князя Меншикова, главнокомандующего флотом в Севастополе. Николай дал Нахимову Георгия 2-й степени — редчайшую военную награду — и щедро наградил всю эскадру. Славянофилы в Москве (и в том числе даже скептический Сергей Аксаков) не скрывали своего восторга. Слава победителя гремела повсюду.

Озабочен по поводу Синопа и сосредоточен был с самого начала лишь один человек во всей России: Павел Степанович Нахимов.

Конечно, чисто военными результатами Синопского боя Нахимов, боевой командир, победоносный флотоводец, был доволен. Колоссальный, решающий успех был достигнут с очень малыми жертвами: русские потеряли в бою 38 человек убитыми и 240 человек ранеными, — и при всех повреждениях, испытанных русской эскадрой в бою, ни один корабль не вышел из строя, и все они благополучно, после тяжелого перехода через бурное Черное море, вернулись в Севастополь. Мог он быть доволен и своими матросами: они держали себя в бою превосходно, без тени боязни, быстро, ловко, дружно выполняя все боевые приказы, прекрасно действовали и его артиллеристы — комендоры. Наконец, мог Нахимов быть доволен и собой, а он ведь учил, что начальник обязан строже всего и в мирное время, но особенно в бою, относиться именно к себе, потому что на него все смотрят и по нему все равняются. На него смотрели и матросы и любовались им в синопский день. «А Нахимов! Вот смелый! Ходит себе по юту, да как свистнет ядро, — только рукой, значит, поворотит: туда тебе и дорога!» — рассказывал, лежа в госпитале в Севастополе, изувеченный взрывом участник боя матрос Антон Майстренко [1].

Итак, собой и своим экипажем Нахимов мог быть вполне удовлетворен. «Битва славная, выше Чесмы и Наварина! Ура,

---

[1] Богданович, «Синоп», стр. 65.

Нахимов! Михаил Петрович Лазарев радуется своему ученику!» — так писал о Синопе другой ученик Лазарева адмирал Корнилов. Сам Нахимов тоже помянул покойного своего учителя и в свойственном себе духе: «Михаил Петрович Лазарев, вот кто сделал все-с!» Это полное отрицание собственной руководящей центральной роли было совершенно в духе Нахимова, лишенного от природы и тени какого-либо тщеславия или даже вполне законного честолюбия.

Но в данном случае было и еще кое-что. У нас есть ряд свидетельских показаний, исходящих от современников (Богдановича, Ухтомского, адмирала Шестакова и др.) и совершенно одинаково говорящих об одном и том же факте: о настроении Нахимова вскоре после Синопа. «О возбужденном им восторге он говорил неохотно и даже сердился, когда при нем заговаривали об этом предмете, получаемые же письма от современников он уклонялся показывать... Сам доблестный адмирал не разделял общего восторга». Он не любил вспоминать о Синопе, — говорят одни. Он был неспокоен, думая о Синопе, — утверждают другие. Он говорил, что считает себя причиной, давшей англичанам и французам предлог войти в Черное море, — говорят третьи. «Павел Степанович не любил рассказывать о Синопском сражении, во-первых, по врожденной скромности, а, во-вторых, потому, что он полагал, что эта морская победа заставит неприятеля употребить все усилия, чтобы уничтожить боевой Черноморский флот. Он считал, «что он невольно сделался причиной, которая ускорила нападение союзников на Севастополь»[1].

Случилось именно то, чего Нахимов опасался.

III

От синопского разгрома спасся бегством, как уже сказано, единственный турецкий пароход «Таиф», которым командовал английский моряк сэр Адольфус Слэд, называвшийся по турецкой службе адмиралом Мушавер-пашой. Уйдя от русской погони, Мушавер-паша примчался в Константинополь 2 декабря и тотчас сообщил о катастрофе.

Турецкое правительство растерялось до такой степени, что чуть ли не в один и тот же день главному начальнику всех турецких морских сил («Капудан-паше») было объявлено, чтобы он не смел показываться на глаза разгневанному на него падишаху, а затем ему же был дан великим визирем и Решид-Мустафой-пашой любопытный по своей полной нелепости приказ: немедленно выйти в Черное море с четырьмя оставшимися в Бос-

[1] Архив Севастопольского музея обороны, 5077, II. Воспоминания Ухтомского о Нахимове (подлинная рукопись).

форе фрегатами. Зачем выйти? Кого и зачем искать? Неизвестно. Но турецкие дела уже давно не зависели ни от Решида, ни даже от самого падишаха, повелителя правоверных, а только и исключительно от лукавого гяура лорда Стрэтфорда-Рэдклифа (Стрэтфорда Каннинга, как он назывался до получения титула лорда), который уже давно забрал в свои руки всю константинопольскую политику. Английский посол сейчас же, конечно, отменил затевавшуюся бессмысленную авантюру с четырьмя турецкими фрегатами. Раньше всех он понял, какие новые перспективы для разжигания войны представляет Синопский бой, если умеючи взяться за дело.

Уже 4 декабря, то есть через четыре дня после Синопа, вот что он писал в Лондон: «К прискорбию, очевидно, что мир в Европе подвергается самой непосредственной опасности, и я не вижу, как мы можем с честью и с благоразумием, понимаемым в более широком и истинном смысле, воздерживаться далее от входа в Черное море с (значительными) силами, каков бы при этом ни был риск («at every risk»). Стрэтфорд, делавший в Константинополе все от него зависящее, чтобы довести дело до войны, тут же, в официальной бумаге, уповает на лжесвидетельство со стороны самого создателя: «Бог знает, что мы довели наше воздержание (forbearance) и любовь к миру до таких размеров, которые породили много затруднений и чреваты опасными случайностями».

Стрэтфорд знал, что глава кабинета лорд Эбердин не разделяет воинственных увлечений Пальмерстона и самого Стрэтфорда, и неспроста ставил эту фразу о воздержании и любви к миру.

Только во вторую неделю декабря по Лондону стала распространяться весть о том, что Нахимов уничтожил 30 ноября турецкий флот. Британский кабинет, конечно, в первые же дни после Синопа получил, как мы видели, от своего посла в Константинополе Стрэтфорда-Рэдклифа самые точные и полные сведения о непоправимой катастрофе турецкого флота, но публике и даже тем, кто очень близко стоял к правительственным кругам, решено было до поры до времени ничего не говорить. Например, в дневнике Чарльза Гревилля мы читаем под 14 декабря 1853 года: «Новостям о турецком разгроме верят, но правительство ничего не намерено по этому поводу предпринимать, пока не получит подлинных сведений и детальных отчетов об этом событии» [1]. И однако лорд Эбердин, глава кабинета, отлично знал, что все газетные известия о Синопе совершенно правильны, и никаких «детальных отчетов» ему не требовалось.

Английское правительство получило точные сведения о Синопе уже 11 декабря по телеграфу из Вены, а затем вскоре и подтверждающую телеграмму из Парижа.

Русский посол в Лондоне Бруннов спешил донести в Петербург о потрясающем впечатлении, произведенном этой русской

[1] «Greville Memoirs», VI, p. 469, London, 1938.

блестящей морской победой. Он сразу же правильно уловил основной мотив возмущения в прессе и в широких слоях английского общества: «Где была Великобритания, которая недавно утверждала, что ее знамя развевается на морях Леванта затем, чтобы ограждать и оказывать покровительство независимости Турции, ее старинной союзницы? Она оставалась неподвижной. До сих пор она не посмела даже пройти через пролив. Это значит дойти до предела позора. Жребий брошен. Больше отступать уже нельзя, не омрачая чести Англии неизгладимым пятном». Бруннов не скрывает опасения, что под влиянием таких по существу несправедливых нападок оппозиции английское правительство может решиться на активное выступление[1].

Граф Алексей Федорович Орлов, очень проницательный наблюдатель европейских настроений в это время, подметил такого рода смену мотивов: сначала пытались всячески снизить и умалить значение нахимовского подвига, а затем, когда это явно оказывалось «нелепым (по мере выяснения подробностей Синопского боя), появилась ужасающая зависть, и нам не прощают ни искусных распоряжений, ни смелости выполнения».

Тут следует пояснить, что дело было не только в зависти («jalousie épouvantable»), но и в определенном беспокойстве: в Европе не ожидали такой блистательной оперативности от русских морских сил. Замечу, кстати, что Орлов, отлично владеющий французским языком, все-таки не заметил, что и его самого французская пресса, писавшая о Синопе, несколько ввела в заблуждение: Орлов пишет всюду, как тогда умышленно писали о Синопе французы, намеренно преуменьшавшие значение русской победы: «un combat». Это слово имеет на французском языке оттенок, который на русском скрадывается. И этот оттенок ускользнул от Орлова. «Un combat» и «une bataille» по-русски переводится одинаково: сражение, битва, бой. А по-французски крупное сражение, имеющее первостепенное значение, большая битва или, например, решающий бой и т. д. — всегда обозначаются словом «une bataille» и ни в каком случае, решительно никогда не называются «un combat», куда входит также оттенок «столкновения», крупной стычки. Это очень резко различается французами. Когда миновали годы войны и о Синопе можно было уже писать поспокойнее, то даже и под французскими перьями он стал называться, как и подобало: «une bataille navale».

Граф Орлов ничуть не сомневался в том, что Синопский бой сделал войну двух западных держав с Россией абсолютно неизбежной[2].

---

[1] Архив внешней политики, кн. 75, № 314. Brunnow — Nesselrode, Londres, le 1 (13) décembre 1853.

[2] Военно-морской архив, фонд Меншикова, папка 178 — А, St.-Petersbourg, le 19 décembre 1853.

Дело в том, что в британском правительстве известие о Синопе произвело такое действие, которое неминуемо должно было привести к резкому внутреннему кризису, уже давно подготовлявшемуся в недрах кабинета.

Премьер лорд Эбердин противился немедленной войне с Россией. Министр внутренних дел Пальмерстон уже с 1852 года считал войну неизбежной и временами, казалось, желал ее.

Министр иностранных дел Кларендон, которого Эбердин только затем и сделал министром, чтобы не давать этого поста Пальмерстону, не знал, какого же мнения ему-то самому держаться, и был в глубоком по этому поводу унынии, которое и не скрыл от Гревилля и от других лиц, видевших его, начиная от 10 декабря и вплоть до 14-го.

В самом деле: прямое начальство — лорд Эбердин — не хочет в данный момент войны и прямо заявляет (в разговоре с Делэном, издателем «Таймса»), что «русский император не сделал ничего такого, на что мы имели бы какое-либо право жаловаться», а с другой стороны — Пальмерстон рвет и мечет и твердит о позорном и опасном для Англии значении победы Нахимова. Правда, Пальмерстон был не начальством, а лишь товарищем Кларендона по кабинету, но робкий и в тот момент еще не оперившийся Кларендон знал, что этот «товарищ», агрессивный и нетерпимый властолюбец, опаснее всякого начальства. Кларендон знал, что и Эбердин, не любящий, но уважающий Пальмерстона, и королева Виктория, его ненавидящая и не уважающая, одинаково его боятся и даже самих себя не всегда удачно от пальмерстоновских когтей защищают. Где уж тут ждать от них помощи! Среди этих колебаний министра иностранных дел он узнал 14 декабря вечером, что Пальмерстон внезапно подал в отставку и вышел из состава правительства.

Эта отставка прогремела, как удар грома, и в Англии и в Европе. Внешним поводом был вовсе не Синоп. Официально было объявлено, будто Пальмерстон ушел вследствие нежелания поддерживать билль об избирательной реформе, выработанный лордом Джоном Росселем. и который поддерживать обязался глава кабинета Эбердин. И сам Пальмерстон не опровергал этой версии. Но и Англия и Европа поняли этот уход Пальмерстона как протест против слишком слабого реагирования кабинета Эбердина на истребление Нахимовым турецкого флота. В самых читаемых газетах Англии поднялась буря, требования ввода английской эскадры в Черное море раздавались все решительнее. Кларендон, на мгновение было успокоившийся, стал понимать, что отставка Пальмерстона — шахматный ход, который непременно поведет к выигрышу не для Эбердина, а для Пальмерстона.

Нужно сказать, что иногда в английской историографии до сих пор почему-то об этой декабрьской отставке Пальмерстона

пишут, что в самом деле Пальмерстон ушел, собственно, из-за билля о реформе, а уж так будто бы совпали события, что все это поняли, как ответ на Синоп [1].

Но современники были вполне правы, что отвергли официальную версию. Только в наиболее заинтересованной стране, в России, не все правильно оценили самый смысл происшедшего видоизменения в составе английского кабинета и сначала очень оптимистически истолковали его. Этому оптимизму суждено было продержаться недолго.

Характерный отклик этого бродившего по обеим русским столицам и шедшего от императорского двора толкования отставки Пальмерстона мы находим в письме московского митрополита Филарета к наместнику Троицко-Сергиевской лавры Антонию. Мимоходом скажу, что любопытный вообще документ это письмо. Филарет был очень умен, очень хитер, крайне осторожен, упорный крепостник, черствый, бессердечный православный иезуит, притеснитель низшего духовенства, гонитель раскольников, гонитель всякой мало-мальски живой мысли. Но в одном он был не грешен: не очень он полагался на военную мощь николаевского режима и никогда не верил в закидыванье шапками всех супостатов. И изливал он свою душу единственному человеку, о котором он мог думать, что тот на него святейшему синоду не донесет: вот этому троице-сергиевскому наместнику Антонию. Сообщая Антонию об отставке Пальмерстона, Филарет все же делает умную и проницательную оговорку к казенной оптимистической интерпретации: «После истребления турецкой эскадры все английские газеты возопияли против России. Говорят, что королева потребовала от министров дознания, отчего это... По дознании оказалось, что это по возбуждению от лорда Пальмерстона. Королева, говорят, поблагодарила его за службу и сказала, что не имеет в нем более нужды. Теперь пишут, что он выходит из министерства... Если это правда, — да спасет бог королеву. Но можно опасаться, что Пальмерстон составит сильную оппозицию и низвергнет нынешнее министерство; и тогда может быть последняя горше первых».

То, чего опасался Филарет, уже произошло в Лондоне как раз в те самые дни, когда митрополит московский писал свое письмо, такое фантазерское в начале и такое здравомыслящее в конце: 24 декабря 1853 года Пальмерстон, согласно просьбе кабинета, снова занял в нем место. Это было совершенно неизбежно.

---

[1] Ср., например, вышедшее в 1936 году в Лондоне двухтомное исследование Herbert Bell «Lord Palmerston», II, стр. 374, или новую книгу Temperley «The Grimea» (1936). Что касается новой монографии Малькольма-Смита о Стрэтфорде Каннинге, то здесь ничего, кроме полустранички о Синопе, мы, к удивлению, не находим. Достаточно сказать, что автор пресерьезно думает, что Синопский бой произошел не 30 ноября, а 30 декабря и это — не опечатка. См. Malcolm-Smith, «The life of Stratford Canning», p. 268, London, 1933.

Тут не место распространяться об общих причинах, побудивших Англию и Францию взяться за оружие в 1854 году. Здесь достаточно сказать, что уже на третий день после отставки Пальмерстона, то есть 17 декабря, английский посол при французском дворе лорд Каули имел разговор с Наполеоном III, после которого немедленно сообщил министру иностранных дел Кларендону: «Французское правительство полагает, что Синопское дело, а не переход (русских войск. — Е. Т.) через Дунай должно бы быть сигналом к действию флотов». Не успел Кларендон опомниться, как лорд Каули известил его, что французский император снова его призвал и прямо заявил, что нужно «вымести с моря прочь русский флаг» и что он, император, будет разочарован, если этот план не будет принят Англией.

Мало того. Наполеон III приказал своему министру иностранных дел Друэн де Люису и своему послу в Англии графу Валевскому дать знать в Лондон, что если Англия даже откажется ввести свой флот в Черное море, то все равно французский флот войдет туда один и будет там действовать так, как найдет нужным. Держаться против такого натиска ни Эбердин, ни Кларендон не были бы в состоянии долго, даже если бы в девяти десятых влиятельнейших органов крупной буржуазии в самой Англии против них не велась в эти самые дни решительная кампания по поводу отставки Пальмерстона, которого, кстати сказать, Наполеон считал и называл публично и демонстративно своим другом. Эбердин решился. Стрэтфорду были посланы в Константинополь инструкции. По всей линии торжествовала пальмерстоновская политика, — и нелепо было делать ее без Пальмерстона. 24 декабря 1853 года Пальмерстон вернулся в кабинет, а 4 января 1854 года англо-французский флот вошел в Черное море.

Позиция русского посла барона Бруннова среди поднявшейся в Англии бури по поводу Синопа была такова: Россия и Турция находятся в состоянии войны, присутствие в Босфоре или даже в Черном море судов какой-либо третьей державы не может заставить русский флот отказаться от преследования турецких кораблей и нападения на эти корабли. Николай написал сверху карандашом: «c'est juste» (это справедливо)[1]. Англия и Франция решили итти в этом вопросе напролом. Появление союзного флота в Черном море имело, между прочим, прямым последствием большое оживление работорговли на Черном море. Это очень благоприятно для торговцев живым товаром отразилось на понижении цен на рабов на рынке. Перед войной, говорят нам некоторые источники, черкесские рабы и особенно рабыни для гаремов и публичных домов так вздорожали, что просто ни на что было не похоже, хоть не выходи на базар. Человеку со скромными средствами прямо не подступиться! Русские суда перехва-

[1] Архив внешней политики, К. 75, № 316, Londres, le 3 (15) décembre 1853. Brunnow — Nesselrode.

тывали на море корабли с этим грузом, шедшие от Кавказа к Константинополю, и положительно мешали сколько-нибудь нормальному расчету по невольничьей коммерции.

Но вот миновала эта «невзгода». С момента появления адмиралов Дондаса и Гамлэна с англо-французским флотом в Черном море сразу рабы и рабыни подешевели на треть своей прежней стоимости[1]. Судоходство между Кавказом и Константинополем стало вполне безопасно. А кроме того, европейские капиталисты и в эту скромную отрасль торговой деятельности внесли свойственный им дух бодрой инициативы. Они поспешили прежде всего вдохнуть новую энергию в приунывших было после Синопа работорговцев, у которых прямо руки опустились после нахимовской победы. «[Они], повидимому, поощряют (encouragent) эту торговлю (рабами). Один корабль из числа тех, которые эскортировали последнюю экспедицию в Батум, подойдя к русскому побережью, успокоил (a rassure) турецких купцов, что вперед уже им ничего не нужно бояться со стороны русских крейсирующих судов»[2].

Жена министра иностранных дел Решид-паши, давно ведшая обширное и процветающее предприятие по скупке молодых черкешенок и их перепродаже в гаремы, более чем кто-либо поэтому могла понять всю серьезность жалоб, которые с такой горечью и так настойчиво приносил ее муж лорду Стрэтфорду-Рэдклифу на то, что присутствие русского флота в Черном море делает прямо невозможным спокойный товарооборот, снабжающий столицу турецкой империи «необходимым импортом»[3].

Правительственная печать во Франции, пальмерстоновская печать в Англии, впрочем, обходили эту деликатную подробность молчанием, но больше всего настаивали на защите от русских варваров «богатой, хотя и несколько своеобразной, турецкой культуры», как выражался публицист распространенной тогда газеты «Морнинг Адвергайзер» Дэвид Уркуорт. Но «Таймс» ничего подобного себе не позволял в смысле излишеств стиля.

Оставалось теперь, когда единение между обоими правительствами было достигнуто, подготовить окончательно общественное мнение Англии и Франции к неизбежной войне.

В Англии Пальмерстону и его прессе нужно было считаться с некоторыми слоями средней и мелкой торговой и промышленной буржуазии, шедшими за Кобденом и не считавшими целесообразной для своих интересов вооруженную борьбу против России. Во Франции Наполеону III в тот момент можно было, собственно, ни с кем особенно в этом вопросе не считаться: круп

---

[1] Военно-морской архив, фонд Меншикова, папка 172. Constantinople, le 8 (20) mars 1854.

[2] Там же, лист 293, оборотн. страница.

[3] См., например, брошюру 1854 г.: «Die hevorragendsten Persönlichkeiten auf dem russisch-türkischen Kriegschauplatz». Этот факт был широко известен дипломатам, сидевшим в Константинополе.

ная буржуазия и собственническое крестьянство надежно и без колебаний его поддерживали, рабочий класс был неорганизован, неактивен, не залечил еще страшных ран. Да и в революционной общественности, как в подполье, так и в эмиграции, немало людей вполне разделяли воззрение, что от поражения николаевской России мировой прогресс может только выиграть. Таким образом, пущенная в ход с конца декабря 1853 года в обеих странах агитация шла очень успешно, и даже иной раз могло казаться, что она ломится в открытую дверь.

Вопрос в прессе ставился так: могут ли Франция и Англия, ограждая свои экономические и политические интересы, дозволить, чтобы Россия завоевала Турцию? Нет. Можно ли смотреть на нападение Нахимова в Синопе, как на начало крушения Турции? Да, можно и должно. Чем более яростно шла вдохновляемая Пальмерстоном агитация в прессе и парламенте, тем чаще писали о «предательском» (treacherous) нападении Нахимова на турок, о «бойне», учиненной им, и о нарушении международного права русским адмиралом. Эта версия всецело была поддержена и французской прессой, которая в данном случае отразила лишь взгляды владыки Франции императора Наполеона III, да ничего другого при полнейшей своей скованности и не могла отразить. Нужно отдать справедливость английской исторической науке — теперь уж она признала [1], что Нахимов имел полнейшие и международно-правовые и военные основания напасть 18(30) ноября на флот, стоявший в Синопе. Но французская историография до сих пор часто довольствуется лишь скромным пересказом дипломатических документов или перепечаткой без комментариев знаменитого письма Наполеона III Николаю. [2]

Это письмо от 29 января 1854 года, оказавшееся прямой прелюдией к Крымской войне, было опубликовано в официальном органе французской империи «Moniteur» одновременно с отсылкой его Николаю. Оно полностью помещено было 12 февраля 1854 года вместе с ответным письмом Николая в официальном органе русского министерства иностранных дел «Iournal de Saint-Petersbourg». Я цитирую его тут по этому официальному тексту.

Вот что писал Наполеон III Николаю о победе Нахимова: «До сих мы были просто заинтересованными наблюдателями борьбы, когда Синопское дело заставило нас занять более определенную позицию. Франция и Англия не считали нужным послать десантные войска на помощь Турции. Их знамя не было затронуто конфликтами, которые происходили на суше, но на море это было совсем иное. У входа в Босфор находилось три тысячи орудий, присутствие которых достаточно громко говори-

---

[1] Ср., например, P. w. Seton — watson, «Britain in Europe», p. 321, Cambridge, 1937; Har. Temperley, «The Crimea», p. 371: «The argument that the «massacre of Sinope» is a perfectly legitimate operation of armo is now generally accepted.

[2] Ср. новейшую книгу de Guichen, «La guerre de Crimée», Paris, 1936.

ло Турции, что две первые морские державы не позволят напасть на нее на море. Синопское событие было для нас столь же оскорбительно, как и неожиданно. Ибо не важно, хотели ли турки или не хотели провезти боевые припасы на русскую территорию. В действительности русские суда напали на турецкие суда в турецких водах, когда они спокойно стояли на якоре в турецкой гавани. Они были уничтожены, несмотря на уверение, что не будет предпринята наступательная война, и несмотря на соседство наших эскадр. Тут уже не наша внешняя политика получала удар, но наша военная честь. Пушечные выстрелы при Синопе болезненно отдались в сердце всех тех, кто в Англии и во Франции обладают живым чувством национального достоинства. Раздался общий крик: всюду, куда могут достигнуть наши пушки, — наши союзники должны быть уважаемы».

В ответном письме, помеченном 9 февраля 1854 года, Николай I говорит о Синопе: «С того момента, как турецкому флоту предоставили свободу перевозить войска, оружие и боевые припасы на наши берега, можно ли было с основанием надеяться, что мы будем терпеливо ждать результата подобной попытки? Не должно ли было предположить, что мы сделаем все, чтобы ее предупредить? Отсюда последовало Синопское дело: оно было неизбежным последствием положения, занятого обеими державами (Францией и Англией. — Е. Т.), и, конечно, это событие не должно было показаться им неожиданным» [1].

Вскоре после переписки двух императоров послы Англии и Франции выехали из Петербурга, русские послы покинули Лондон и Париж, и последовало объявление обеими западными державами войны Российской империи.

Интересно, что клевреты Наполеона III старались сообщить подготовляющейся войне характер религиозного и культурного крестового похода против русских «еретиков» и «варваров».

«Для Европы предпочтительнее слабая и безобидная Турция, чем всемогущая и деспотическая Россия. Россия в Константинополе — это смерть для католицизма, смерть для западной цивилизации. И однако именно такая катастрофа висит над нашей головой... Право против насилия, католицизм против православной ереси, султан против царя, Франция, Англия, Европа — против России» [2]

Все это и тому подобное писалось журналистами французского императора, чтобы загнанные после переворота 2 декабря в подполье революционеры не подумали, будто они могут что-нибудь выиграть для своего дела от начинающейся борьбы двух деспотов, Наполеона III с Николаем I.

Англия тоже быстрым и еще более бурным, чем Франция, темпом в конце 1853 и в начале 1854 года шла к войне, и толь-

---

[1] Полный текст переписки обоих императоров в «Journal de St-Petersbourg», 1854, 4 serie, № 331, 12 février 1854.

[2] Leouzon Le Duc, La question russe, 1853, pp. 276, 326.

ко официальное ее объявление несколько разрядило политическую атмосферу.

Следует, кстати, отметить, что при формальном объявлении Бруннову о проходе английской эскадры в Черное море министр иностранных дел лорд Кларендон признал правильность и обоснованность русской точки зрения, согласно которой русский флот имеет полное право нападать на неприятельские суда всюду, где они ему попадутся. Кларендон лишь заявил, что и Англия оставляет за собой право принимать меры, какие требуются для спасения Турции и для предотвращения нового разгрома турок, вроде происшедшего в Синопской бухте [1].

По мере того как во второй половине декабря 1853 года прибывали новые и новые подробности о Синопе, атмосфера в Лондоне сгущалась все более и более. Никто уж окончательно не верил официальной версии об отставке Пальмерстона; общее мнение склонялось к тому, что он ушел, потому что считал позорным поведение правительства, у которого нехватило силы воли приказать британской эскадре во-время, до нападения Нахимова, войти в Черное море и этим спасти турецкий флот. Шовинистические настроения охватили значительную часть буржуазии — крупной, средней и мелкой. Рабочий класс, в своей массе, не принимал участия в начавшихся демонстрациях, но и среди рабочих было немало людей, которые, ненавидя Николая, считая его главным оплотом мировой реакции, полагали, что настала, наконец, пора с ним рассчитаться.

Дошло, наконец, до того, до чего так редко в те времена в Англии доходило: до антимонархических заявлений. Все знали, какие неприязненные отношения существуют между Викторией и Пальмерстоном. Эту вражду стали приписывать «немцу», «маленькому вредному Алю», то-есть, другими словами, принцу Альберту, мужу королевы Виктории. Создалась легенда о том, что Альберт изменник, что он куплен императором Николаем. В Лондоне распространялись печатные листки с стихотворениями о «маленьком Але, королевском товарище, который, говорят, обратился в русского» [2].

Наконец, стали уже прямо передавать слухи, что и Альберт и Виктория арестованы и будут заключены в Тоуэр, тюрьму для государственных преступников. Густые толпы собирались по утрам около Тоуэра, поджидая привоза королевы и ее мужа в тюрьму. Объявление войны России сразу прекратило эти манифестации.

* * *

Нахимов и с ним весь Черноморский флот следили с напряженным вниманием за первым актом начинающейся трагедии,

---

[1] Архив внешней политики. К. 75, папка 326. Brunnow — Nesselrode, Londres, le 1 (13) décembre 1853.

[2] ... And little Al the royal pal, They say has turned a Russian, Cp. Lytton Strachey, «Queen Victoria», p. 154, London, 1931.

за Парижем и Лондоном, за вступлением русских войск в Молдавию и Валахию, за войной на Дунае, за первым торжеством русского наступления и за последующими неудачами на Дунае. Они пока еще были зрителями и с беспокойством думали о сцене, на которой им суждено было выступить в качестве главных действующих лиц.

Много черных дум было некоторыми из них передумано и отчасти высказано и после Синопа, и после прохода союзных эскадр через Босфор в Черное море в январе 1854 года, и после зловещей последней переписки Наполеона III и Николая I в январе — феврале 1854 года, и после бомбардировки Одессы в апреле, и после снятия осады с Силистрии в июне. С каждым днем нарастала грозная туча именно над Севастополем, с каждым месяцем становилось все более ясно, что именно на юге Крыма, а не в каком-либо другом месте, произойдет решающая схватка.

Утром 1 (13) сентября 1854 года телеграф сообщил Меншикову, что огромный флот направляется непосредственно к Севастополю.

Нахимов с вышки морской библиотеки увидел в подзорную трубу в отдалении еле видную несметную массу судов, медленно приближавшихся. Сосчитать их издали в точности было невозможно. В действительности их оказалось, не считая мелких, около 360 вымпелов.

Это были как военные суда (парусные и паровые), так и транспорты с армией, артиллерией и обозом. Вся эта темная, огромная масса была не очень ясна, она была окутана туманом и дымом. Она шла к Евпатории. Нахимов и Корнилов долго глядели на эту медленно проходившую, далекую, едва темнеющую громаду в свои подзорные трубы. Им обоим она несла славу и гибель.

IV

Историческая роль матросов и солдат и многих из рядового офицерства и тех единичных личностей в командном составе, какими явились Корнилов, Нахимов, Истомин, Тотлебен, Хрулев, А. Хрущов, Васильчиков, может быть определена так. Эти люди были оставлены в полном смысле слова на произвол судьбы сначала без верховного руководства вовсе, потом при таком верховном руководстве, которое делало одну за другой ряд грубейших ошибок. Мало того. У них не только не было искусного командования, но не было ни правильного и достаточного снабжения боеприпасами, ни сколько-нибудь честно, нормально и, главное, организованно поставленной доставки пищевых продуктов, ни достаточной обеспеченности лекарствами и медицин-

ской помощью, потому что и Пирогов, и Гюббенет, и самоотверженные сестры милосердия так же точно зависели во многом и самом важном от тыла, как — в своей области — зависели от него же Нахимовы, Корниловы и Тотлебены. Тыл же одинаково мало был способен помочь севастопольским защитникам и на бастионах и в лазаретах.

Эти люди, поставленные в такое истинно отчаянное положение, создали вместе со своими матросами и солдатами великую севастопольскую эпопею, затмившую все до тех пор бывшие исторические осады, они создали то, своего рода историческое, чудо, которое даже во враждебной печати стали именовать (уже после окончания войны) «русской Троей», — вспоминая осаду, эпически воспетую гомеровской «Илиадой». Мы тут задаемся целью проследить деятельность лишь одного из этих людей, поэтому будем касаться только тех перипетий кровавой борьбы, в которых он, Нахимов, принимал непосредственное участие. Но даже самым строгим образом ограничивая свою задачу, тот, кто пытается дать сколько-нибудь реальное представление об этих людях, непременно должен напоминать и о совсем других деятелях, стоявших на самой вершине военной иерархии. Ограничимся самыми краткими словами хотя бы о двух из них, от которых непосредственно зависела судьба Севастополя: об императоре Николае, о наследнике, о Нессельроде, о Паскевиче речь будет итти в других частях работы о Крымской войне. Здесь коснемся лишь главнокомандующего Крымской армией и флотом князя Меншикова и военного министра князя В. А. Долгорукова, который долгое время был перед тем помощником военного министра А. И. Чернышева.

Меншиков был «взыскан всеми милостями», пользовался неизменно благоволением Николая, обладал колоссальным богатством и занимал в придворной и государственной жизни совсем особое место. Он был очень образованным человеком, и не только по сравнению с придворными и сановниками Николая Павловича, но и безотносительно. Читал он книги на разных языках, обладал громадной библиотекой в тридцать тысяч томов на всех европейских языках. Он был умен и злоречив. По своему положению Меншиков примерно с сорокалетнего возраста ни в ком не нуждался, кроме, конечно, самого царя. Метил он в своих карьеристских помыслах так далеко, что, когда ему однажды предложили быть русским посланником в Саксонии, он возмутился таким, по его мнению, унизительным для него предложением и вышел временно в отставку. Личной храбростью он, бесспорно, обладал и на войне 1828—1829 годов был тяжко ранен.

В 1829 году Николай, буквально ни с того, ни с сего, сделал его начальником Главного морского штаба, хотя князь Александр Сергеевич никогда нигде не плавал и лишь чисто любительски интересовался морским делом. Из начальника штаба он превратился очень скоро фактически, если не по титулу,

в морского министра, одновременно стал еще и финляндским генерал-губернатором, хотя Финляндию знал еще меньше, если это только возможно, чем морское дело. В 1853 году своим вызывающим поведением в качестве чрезвычайного посла в Константинополе он сыграл, не ведая и не желая того, в руку Пальмерстону и Стрэтфорду-Рэдклифу и ускорил взрыв войны с Турцией. А затем был назначен главнокомандующим Крымской армией и Черноморским флотом, с оставлением во всех прежних должностях, вплоть до финляндского генерал-губернаторства. Он без колебаний и сомнений проходил свой блестящий жизненный путь, беря все должности, которые ему предлагались, конечно, если эти должности принадлежали к числу наивысших и почетнейших в государстве.

Он был циник и скептик, откровенно презирал своих коллег по правительству и не давал себе никакого труда скрывать это. Меншиков издевался над ничтожным министром финансов Вронченко, понятия не имевшим о финансах вообще и о русских финансах в частности, хотя сам Меншиков был точь-в-точь так же подготовлен к управлению морским министерством, Финляндией, армиями и флотами, как Вронченко к руководству финансами Российской империи. Меншиков остерегался лишь затрагивать царя, делавшего подобные назначения, но тем более беспощадно издевался над его креатурами, над их холопством, казнокрадством, тщеславием, тупостью, бесчестностью. О министре путей сообщения Клейнмихеле он утверждал, что тот совсем уже сговорился продать свою душу чорту, но сделка, к огорчению обеих договаривавшихся сторон, расстроилась, — ибо никакой души у Клейнмихеля вообще не оказалось. П. Д. Киселева, министра государственных имуществ, Меншиков предложил послать на Кавказ, где нужно было разорять враждебные чеченские аулы, потому-де, что никто не умеет так дочиста разорять деревни и села, как Киселев, доказавший это по всей России.

Меншикова особенно потешало, когда, например, Клейнмихель и ему подобные вдруг начинали громить казнокрадов и взяточников. «Этот господин — социалист на выворот: Прудон доказывает, что всякая собственность есть кража, а наш социалист убежден, что всякая кража, не им произведенная, — ущерб его собственности», уверял князь Александр Сергеевич [1].

Иностранные дипломаты очень прислушивались к этим остротам князя [2]. Военный министр Александр Иванович Чернышев, долгие годы вместе со своим помощником, а потом преемником Василием Долгоруковым разрушавший боеспособ-

---

1 В. Р. Зотов. Из воспоминаний, 547 («Истор. Вестн.» 1890, том 40). Владимир Рафаилович Зотов именует Меншикова — «удачным бонмотистом и неудачным полководцем».

2 Leouzon Le Duc, La question russe, p. 32. Paris, 1853.

ность русской армии, ненавидел Меншикова за то, что на вопрос княгини Чернышевой: «Не помните ли, как называется город, который взял Александр?» — Меншиков быстро ответил: «Вавилон!», притворяясь, будто он думает, что его спрашивают не об Александре Чернышеве, но об Александре Македонском, хотя знал отлично, что жена Чернышева желала, чтобы вспомнили о городе Касселе, куда Чернышев вошел в условиях полнейшей безопасности в 1813 году, во время похода русской армии в Германию. Этого Вавилона Чернышев не простил Меншикову до гробовой доски.

Меншикову справедливо казались смешными претензии Чернышева на полководческие лавры, но ему нисколько не показалось смешным, что сам-то он внезапно попал, не имея на это ни малейших оснований по своим данным, в верховные вожди русских сухопутных и морских сил, да еще в один из самых грозных моментов в истории русского народа и именно в наиболее угрожаемом пункте империи. Впрочем, это и в самом деле было вовсе не смешно: это было трагично.

Еще до нападения союзников на Севастополь в Петербурге ни для кого, кроме царя, не было тайной, что такое Меншиков как морской министр.

«Рассказывают, будто бы ваша светлость своим управлением погубили Балтийский флот и что если и делается что-либо хорошее в Черном море, то сим обязаны Лазареву, а в настоящее время Корнилову и Нахимову. Сии клеветы, одобряемые управляющим министерством, довольно сильно распущены в публике. В числе главных деятелей по этой части находится Матюшкин» [1]. Адмирал Матюшкин, благороднейший человек, один из любимейших лицейских товарищей Пушкина, тот, кому посвящены такие сердечные две строфы в бессмертном «19 октября» 1825 г., — разумеется, не мог не быть принципиальным врагом Меншикова, не мог не возмущаться и этим лукавым царедворцем и его клевретами и прихлебателями, и всеми методами его хозяйничанья во флоте.

Мы уже видели, как безучастен был Меншиков в октябре — ноябре 1853 года, когда Нахимов следил в море за турецким флотом. Теперь, в конце лета 1854 года, гроза уже шла прямо на Севастополь. Как же Меншиков готовился встретить ее?

Уже с того дня, как союзный флот вошел 3 января 1854 года в Черное море, Одесса, Севастополь, Николаев и все форты восточного берега Черного моря оказались под угрозой не только прямого нападения, но и немедленной гибели, потому что решительно ничто не было готово к обороне. Бомбардировка Одессы в апреле 1854 года тоже ничуть не заставила взяться за дело.

Если севастопольская драма началась не в январе, а только

---

[1] Военно-морской архив, фонд Меншикова, папка 112. № 25, Краббе — Меншикову, 29 апреля 1854 г.

в сентябре 1854 года, то это произошло прежде всего потому, что союзников задерживали опасения за турецкую армию на Дунае. Но вот 1 (13) июня, под давлением нараставшей угрозы со стороны Австрии, Николай дал свое принципиальное согласие на снятие осады с Силистрии, и Паскевич, получив письмо императора, мгновенно этим согласием воспользовался. Русская армия ушла за Дунай.

С этого момента руки у французов и англичан были развязаны. Уже можно было думать не о защите Турции от России, но о прямом нападении на русскую территорию. 8 (20) июня была снята осада с Силистрии. Несколько дней союзники были в недоумении: они, напротив, считали, что крепость — в очень критическом положении; и Сент-Арно, французский главнокомандующий, просто понять не мог поступка русского командования. Но как только Наполеон III убедился, что снятие осады с Силистрии не есть маневр, рассчитанный ввиду нового русского наступления, сейчас же полетела из Парижа телеграмма военного министра Вальяна с повелением императора маршалу Сент-Арно держать всю армию в Варне и по соседству от Варны в полной готовности к посадке на суда.

Аналогичный приказ из Лондона получил и английский главнокомандующий лорд Раглан. 14 (26) августа все приготовления были закончены, и затем состоялось в Варне историческое последнее совещание Сент-Арно с Рагланом в присутствии французского адмирала Брюа, английского адмирала Лайонса, генерала Канробера и еще четырех английских и французских генералов. Совещание длилось очень долго и шло негладко. Но главный вопрос был разрешен обоими главнокомандующими окончательно. Решено было напасть на Севастополь.

Любопытно отметить, что еще в середине лета главнокомандующий Меншиков временами видел грозящую опасность. Меншиков доносил Николаю 29 июня (11 июля) 1854 года, что среди опасностей, угрожающих Крыму, он считает также и «покушение на Севастополь» и уничтожение Черноморского флота. Он предполагал, что неприятель может высадить до 60 тысяч человек, не считая турецких войск. А для обороны у Меншикова было 22 700 человек пехоты, 1 128 человек кавалерии и 36 легких орудий, да еще он мог бы собрать с кордонов 500 или 600 казаков. Вывод князя был очень пессимистичен: «Против внезапного нападения Севастополь, конечно, обеспечен достаточно временными своими укреплениями. Но противу правильной осады многочисленного врага и противу бомбардирования с берега средства нашей защиты далеко не соразмерны будут с средствами осаждающего... Мы положим животы свои в отчаянной борьбе на защиту святой Руси и правого ее дела».

В том же духе писал тогда Меншиков и на Дунай Горчакову.

«Любезный князь, из Петербурга, Варшавы и Вены меня извещают, что главные силы англо-французов направляются про-

тив Севастополя, как к главной цели войны, состоящей в намерении истребить здешнее адмиралтейство и уничтожить Черноморский флот. И приказание и долг повелевают мне защищать их до последней капли крови, но вместе с тем предвижу, что буду раздавлен и без успеха, если неприятель высадится в числе 50 или 60 тысяч человек, не включая сюда турок и тунисцев», — так писал Меншиков Горчакову 30 июня 1854 года [1].

В фонде Воронцовых-Дашковых (№ 10), в Симферопольском архиве, в рукописи, называющейся «Отрывок из истории Крымской войны 1854 года», мы находим намеренно противоречивые ответы на вопрос, понимал ли Меншиков в июле, в августе, даже в начале сентября 1854 года, какая страшная опасность повисла над Севастополем, или не понимал.

«Верил ли кн. Меншиков в сбыточность высадки союзных войск? Допускал ли возможность потерять Севастополь и флот? И верил, и не верил. В е р и л, — потому что еще в первых числах июля он находил себя слабым в Крыму и прислал сына своего в главную квартиру Южной армии для представления этой слабости кн. Горчакову, вследствие чего была отправлена в Крым 16-я пехотная дивизия. Н е в е р и л, потому что за два дня до высадки союзных войск в Крыму он писал ген.-ад. Анненкову: предположения мои совершенно оправдались, неприятель никогда не мог осмелиться сделать высадку, а по настоящему позднему времени высадка невозможна» [2].

И, к сожалению, именно этот роковой, легкомысленный оптимизм вдруг овладел Меншиковым как раз перед катастрофой, перед десантом и Альмой. Достаточно вспомнить наглый, небрежный прием прибывшего спешно с Дуная в Севастополь Тотлебена, которого Меншиков спросил, зачем, собственно, он сюда пожаловал? Достаточно также прочесть в той же симферопольской рукописи, что когда Корнилов хотел показать Меншикову список офицеров и жителей Севастополя, давших добровольные пожертвования из личных средств на предстоящую оборону города, то Меншиков, отрицавший возможность высадки и осады, ответил: «Я не желаю видеть списка трусов»...

«Князь Меншиков во все время командования в Крыму изволил подшучивать над союзниками и над действиями наших войск в Турции и на Кавказе [3], потому что он был и генерал-адъютантом его величества, и адмиралом, и морским министром, и одновременно главнокомандующим крымскими сухопутными и морскими силами, и кавалером разнообразнейших орденов, но никогда не был ни настоящим моряком, ни настоящим армейским военным. Он подшучивал всю свою жизнь над кем угодно и над чем угодно, — но только не подшучивал над собственной

---

[1] Меншиков — Горчакову. Севастополь, 30 июня 1854 г. «Русская старина», 1875, т. XII, стр. 304.

[2] Симферопольский исторический архив, фонд Воронцовых-Дашковых, № 11, рукопись на 24 листах (продолжение рукописи того же фонда № 10).

[3] Там же.

недогадливостью, исключительной несообразительностью, над своим губительным умственным сибаритизмом, мешавшим ему до последней минуты думать о тревожном и неприятном, над своей полнейшей неспособностью понять свою всестороннюю несостоятельность. И чем более приближалась опасность, тем большее ослепление овладевало князем Меншиковым.

Но не только Меншиков проявлял в эти наступающие катастрофические дни полную беспечность. О Крыме и Севастополе как-то забыли и в Петербурге. «Наступило как будто затишье. Почему-то успокоились и у нас в Петергофе и в самом Севастополе, несмотря на то, что из заграницы продолжали приходить сведения о приготовлениях союзников к большой морской экспедиции, о многочисленных судах, собранных у Варны и Бальчика», — читаем в воспоминаниях Д. А. Милютина [1].

Лично знакомый князя Меншикова, местный булганакский помещик, явился незадолго до начала осады Севастополя к князю с вопросом: не лучше ли будет заблаговременно с семьей уехать? И получил в ответ, что «предпринять нашим неприятелям высадку менее сорока тысяч человек невозможно, а сорока тысяч им поднять не на чем» [2].

Совершенно согласуется с этими показаниями и история первого появления в Севастополе Эдуарда Ивановича Тотлебена, так лживо, замечу кстати, изложенная в воспоминаниях панегириста Меншикова А. А. Панаева [3].

Горчаков, командовавший в 1854 году русской армией на Дунае, впоследствии столь же роковой человек для Севастополя, как и Меншиков, неожиданно оказал колоссальную услугу обороне этой крепости в самом начале этой эпопеи: он прислал Тотлебена. Вот как это случилось.

В самом конце июля (ст. ст.) Горчаков призвал к себе подполковника Тотлебена и сказал ему: «Я получил верные сведения о намерении наших неприятелей сделать высадку на берега Крыма, а потому поезжайте сегодняшний же день в Севастополь и осмотрите, в каком он положении. Вот вам письмо к князю Меншикову, в котором я отзываюсь о вас, как о знающем и опытном инженере... Но предупреждаю вас, что князь очень щекотлив к посторонним услугам, которые предлагаются ему помимо его желания, а потому будьте осторожны, не напрашивайтесь ни на какое командование...» [4]

---

[1] Рукописное отделение библиотеки им. Ленина, М, 7812, листы 140—141.

[2] Рукописное отделение Публичной библиотеки, IV, 818. Бумаги Хомутова. Из воспоминаний о Крымской кампании, 46.

[3] «Кн. А. С. Меншиков в рассказах бывшего его адъютанта Аркадия Панаева». «Русская старина», 1877, т. XVIII, стр. 118: «Тотлебен прибыл в Севастополь 10 августа и просил у его светлости позволения осмотреть укрепления... Своей любовью к науке он заинтересовал князя, который выразил ему свое расположение...» И дальше все в этом же слащавом тоне, извращающем правду.

[4] Рукописное отделение Публичной библиотеки. F. IV, 818. Бумаги Хомутова 14 verso.

Тотлебен никогда не мог забыть той встречи, которая постигла его у Меншикова. Приведем лишь одно (из многих) документальное показание.

«10 (22) августа вечером я встретил на Графской пристани только что приехавшего из Дунайской армии давно знакомого мне саперного подполковника Тотлебена. Поздоровавшись с ним, я спрашиваю его, по какому случаю он пожаловал к нам в Севастополь. Тотлебен ответил мне, что приехал по поручению от князя Горчакова и что, может быть, он останется у нас в Севастополе. Поговоривши еще кое о чем, Тотлебен отправился к князю Меншикову. Чрез четверть часа Тотлебен возвратился на пристань. Смотрю: он что-то невесел. Тотлебен, подойдя ко мне, передал следующее: «Когда я представился князю Меншикову, он спросил меня, с какими вестями я приехал в Севастополь? Я подал ему письмо от князя Горчакова... Князь (Меншиков) прочитал письмо и сказал: «князь (Горчаков. — Е. Т.) по рассеянности своей, верно, забыл, что у меня находится саперный батальон». Потом, обратившись ко мне, добавил: отдохнувши после дороги, вы можете отправиться обратно к своему князю на Дунай» [1].

Таков был служебный дебют Тотлебена в городе, который именно ему суждено было спасти от скорой капитуляции. Несмотря на этот прием, Тотлебену удалось все-таки остаться в Севастополе. При первом же осмотре он убедился, что с северной (сухопутной) стороны укрепления города находятся в самом безобразном состоянии.

В самые последние дни августа (ст. ст.) некто состоящий при князе Меншикове, — повидимому Комовский, — обозначаемый в нашем источнике начальной буквой К., «заливаясь смехом», вышучивал забавное известие, полученное Меншиковым из Дунайской армии, будто бы союзники сажают свои войска на суда и предполагают плыть к берегам Крыма.

Веселое расположение духа овладело не только Меншиковым и его приближенными, но почти всеми штабными. «Если бы не надоедавший всем своими опасениями подполковник Тотлебен, то о войне и вовсе бы позабыли» [2].

«Продолжительное бездействие союзников объяснилось впоследствии бедственным положением войск под Варной от свирепствовавшей эпидемии, — пожаром, истребившим значительную часть складов, а также и разными встреченными затруднениями для устройства громадной материальной части предположенной морской экспедиции. Но кн. Меншиков смотрел иначе на бездействие союзников. Он был убежден, что они не решатся предпринять что-либо серьезное в позднее время года, и в таком смысле писал военному министру. Только подобным самооболь-

---

[1] Рукописное отделение Публичной библиотеки, F. IV, 818. Бумаги Хомутова, 14 verso.

[2] Там же. Из воспоминаний о Крымской кампании.

щением можно объяснить то равнодушие, с которым кн. Александр Сергеевич относился в это время к мерам обороны Севастополя»...

... «Через приезжих из Крыма и по частным письмам доходили до Петергофа разные нарекания на кн. Меншикова, упрекали его в апатии и беззаботности, недоверии ко всем подчиненным, в невнимательности к войскам», — говорит Д. А. Милютин в своих воспоминаниях [1]. В Петербурге недоумевали, почему Меншиков даже не потрудился устроить правильно организованный штаб, чем объяснялся полный хаос в делопроизводстве и постоянный беспорядок в управлении армии, вверенной ему. Недоумевали — и не гнали его вон из армии, которую он губил, а только писали ему «из Петергофа» ласковые ободряющие записочки.

Ровно за два дня до высадки союзных войск в Крыму князь А. С. Меншиков писал генерал-адъютанту Анненкову: «Предположения мои совершенно оправдались, неприятель никогда не мог осмелиться сделать высадку, а по настоящему позднему времени высадка невозможна».

Десант неприятельской армии совершился вполне для нее беспрепятственно, а 8 (20) сентября произошла битва на реке Альме. Сражение было нами проиграно, несмотря на храбрость и стойкость войск. Нельзя даже сказать, что Меншиков и его помощники, вроде Кирьякова, плохо руководили русской армией. Они просто по утверждению участников, никак не руководили ею в этой битве. Сначала четырнадцать русских батальонов были поставлены под удары тройного количества англичан и французов, а русская кавалерия и несколько пехотных полков даже не были полностью введены в бой. Потеряв совсем без всякой пользы несколько тысяч человек, Меншиков увел войско к реке Каче, открыв неприятелю беззащитный Севастополь.

Нахимов был в Севастополе и не участвовал в битве. Он мог только частично облегчить положение некоторым жертвам боя, страдавшим от полного отсутствия медицинской и какой бы то ни было иной помощи.

После битвы при Альме раненые оказались в отчаянном положении. Более двух тысяч из них валялось на полу, на земле, без всякой медицинской помощи — и даже без тюфяков. Барятинский рассказал об этом Нахимову: «Нахимов вдруг, как бы вспомнив о чем-то, с радостью бросился на меня и сказал: поезжайте сейчас в казармы 41-го экипажа (которым он долго командовал) — скажите, что я приказал выдать сейчас же все тюфяки, имеющиеся там налицо и которые я велел когда-то сшить для своих матросов; их должно быть 800 или более, тащите их в казармы армейским раненым».

Нахимов, Корнилов, Тотлебен, узнав о печальных результатах битвы при Альме и о последовавшем за нею движении

[1] Рукописное отделение Библиотеки им. Ленина, М, 7812, листы 141—142.

главнокомандующего Меншикова прочь от Севастополя, ждали немедленного нападения союзников на беззащитный с северной своей стороны город.

В самом деле. Пред высадкой союзников стоявший на севастопольском рейде флот состоял из 14 кораблей, 7 фрегатов, 1 корвета, 2 бригов, а кроме всех этих парусных судов, также было налицо 11 пароходов. Этот флот обладал хорошей артиллерией, которая оказала бы жестокое сопротивление всякому нападению на Севастополь с моря. А кроме этой артиллерии, Севастополь с моря был защищен 13 батареями, на которых находилось 611 орудий [1]. Северная же сторона была фактически почти совсем беззащитна. Была там выстроенная в свое время «тоненькая стенка в три обтесанных кирпичика», как ее ядовито называли моряки, прибавляя, что если эта стенка была тоненькая, то уж зато в собственных домах инженеров, строивших эту «стенку», стены, выстроенные на экономию от этой «стенки», были очень толстые.

Укрепления Северной стороны были расположены так неумело и нелепо, что окрестные возвышенности господствовали над некоторыми из них, сводя тем самым их значение к нулю. Всего орудий, предназначенных защищать Северную сторону, было 198, причем сколько-нибудь крупных было очень мало. Вообще распределение артиллерийских средств в Севастополе было сделано нецелесообразно: достаточно сказать, что на Малаховом кургане, центре позиции, ключе к Севастополю, в тот момент, когда Корнилов, Нахимов, Истомин и Тотлебен взяли в свои руки дело спасения города, находилось всего **пять** орудий; все пять — среднего калибра (18-фунтовые). Мало того, башня, на которой эти пять пушек стояли, не была защищена, так как «гласис, долженствовавший защищать стены башни, и вообще земляные работы около нее еще не начинались» [2].

Совсем неожиданная, грубейшая, чреватая неисчислимыми последствиями ошибка союзного командования, к счастью, предупредила неминуемую катастрофу.

Утром в понедельник 10 (22) сентября, спустя два дня после Альмы, когда во французской и английской армии многие были убеждены в неминуемости немедленного победоносного нападения на Северную сторону, сэр Джон Бэргойн, английский генерал, явился к главнокомандующему английской армией лорду Раглану и подал совет воздержаться от нападения на Северную сторону, а двинуться к Южной стороне. Раглан сам не решил ничего, а послал Бэргойна к французскому главнокомандующему маршалу Сент-Арно, в руки которого, таким образом, и

---

[1] «Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии В. А. Корнилова, собранные и объясненные капитан-лейтенантом А. Жандром, бывшим его флаг-офицером», стр. 180—183, СПБ, 1859.

[2] **Там же**, стр. 186.

перешла в этот момент судьба Севастополя. Многие французские генералы советовали немедленно напасть на Северную сторону. Но тяжко больной, распростертый на кушетке Сент-Арно (ему оставалось жить еще ровно семь дней), выслушав сэра Джона Бэргойна, сказал: «Сэр Джон прав: обойдя Севастополь и напав на него с юга, мы будем иметь все наши средства в нашем распоряжении при посредстве гаваней, которые находятся в этой части Крыма и которых у нас нет с этой (северной) стороны».

Жребий был брошен. Английские, французские, турецкие батальоны, эскадроны, батареи потянулись бесконечной лентой от лежавшей перед ними совсем беззащитной Северной стороны к югу. Генерал Канробер, фактически уже сменивший Сент-Арно спустя четыре дня после этого решения, совсем не понял, так же как и Сент-Арно, какую убийственную ошибку они совершают, производя это фланговое движение от Северной стороны к югу. «Впоследствии я услышал из уст самого генерала Тотлебена, с которым я часто встречался, что, если бы мы произвели тогда внезапную атаку на Северную сторону, — мы бы взяли город», — говорил уже к концу жизни Канробер[1].

Сами защитники Севастополя не переставали дивиться этой грубой ошибке французского и английского верховного командования и благодарили судьбу за эту совершенно нежданную негаданную милость. «Знаете? Первая просьба моя к государю по окончании войны — это отпуск за границу: так вот-с, поеду и назову публично ослами и Раглана и Канробера», — так сказал Нахимов, вспоминая в разговоре с генералом Красовским уже спустя несколько месяцев об этих грозных днях, наступивших сейчас же после отступления русских войск от альминских позиций[2]. Канробер в этот момент, когда еще жив был Сент-Арно, играл лишь подчиненную роль. Нахимов имел, очевидно, в виду не только самые первые один-два дня после Альмы, но даже и несколько более поздний период, когда уже Канробер стал главнокомандующим после отъезда из армии умиравшего маршала Сент-Арно.

Штурма и взятия Севастополя сейчас же после Альмы ожидали буквально с часу на час. Некоторые севастопольские жительницы составили письменное обращение к генералу Сент-Арно с просьбой отвезти их из Севастополя в Одессу на французском пароходе ввиду опасностей, грозящих женщинам в будущем во взятом штурмом городе. Это письмо было показано В. А. Корнилову, который только сказал: «Подождите, еще рано»[3], но вовсе не счел содержание письма нелепым.

---

[1] Germain Bapst, Le maréchal Canrobert, Souvenirs du siècle, II, p. 261, Paris, 1902.

[2] Красовский — Менькову, 18 февраля 1855 г. Рукописное отделение Публичной библиотеки, Q. IV, 365/2.

[3] Рукописное отделение Публичной библиотеки, F. IV, 818. Бумаги Хомутова, 34 verso.

Меншиков не мог понять, куда клонится маневрирование французов и англичан после Альмы. 12 (24) сентября он остановился на предположении, что неприятель хочет отрезать Севастополь и весь Крым от Перекопа, то-есть от России. Он решил во что бы то ни стало помешать этому. В этом он был прав.

Главнокомандующий распорядился оставить в Севастополе совсем слабый гарнизон (8 резервных батальонов и небольшое количество матросов), а сам со всей своей армией вышел из города, где пробыл три дня (с 9 (21) до 12 (24) сентября), и 13 (25) пошел к Бельбеку. Адмирал Нахимов не одобрял этого движения и назвал его «игрой в жмурки». Уже 13 (25) вечером Меншиков получил неприятное известие о том, что неприятель захватил один артиллерийский парк, отставший от русской армии. 14 (26) Меншиков стал на реке Каче.

Итак, отброшенная от Альмы русская армия отступала к Бельбеку. Князь Меншиков немедленно приказал Корнилову командовать на Северной части города, а Нахимову — на Южной. Положение казалось совсем отчаянным. Севастополь мог быть взят в ближайшие дни. Нахимов заявил главнокомандующему, что он без колебаний умрет, защищая Севастополь, но вовсе не считает себя, адмирала, способным к самостоятельному командованию на сухом пути и с готовностью подчинится кому-либо более подходящему, кого Меншиков назначит командовать на Южной стороне города. Но Меншиков подтвердил свое решение и приказал Нахимову принять назначение.

Нахимов повиновался.

Но как только союзная армия неожиданно для русского командования отошла от Северной стороны и обложила Южную, Нахимов упросил Корнилова взять на себя командование, а сам сделался его помощником.

Собственно, когда отступавшая русская армия была уведена Меншиковым в долину Бельбека, то Севастополь был брошен буквально на произвол судьбы. Когда Меншиков, как сказано, перед своим отъездом из Севастополя призвал Корнилова и объявил, что назначает его командиром войск Северной стороны Севастополя, а Нахимова — командиром Южной, то Корнилов ответил, что если армия уводится прочь, то ведь не может Севастополь держаться горстью моряков. Но Меншиков был непреклонен. Он мотивировал свое решение двумя аргументами: во-первых, отступая к Бельбеку, он сохранит сообщение с Россией, во-вторых, воспрепятствует полному обложению Севастополя, так как вся масса уводимой им армии будет фланговой угрозой висеть над союзниками. Первый аргумент был вполне серьезен.

Участник и английский историк Крымской войны Кинглэк замечает, что второй аргумент оказался чисто словесным, нереальным: Меншиков так далеко стал от союзников, что не он давал знать осажденному городу об их передвижениях, а напротив, Корнилов и Нахимов извещали обо всем главнокоман-

дующего, хотя Меншиков увел с собой всю кавалерию, и разведки были для севастопольцев очень трудны. Спасли Севастополь в этот момент от непосредственной гибели, во-первых, грубые ошибки союзного верховного командования, не решившегося на немедленную атаку, а во-вторых, три человека: Корнилов, Тотлебен, Нахимов. Тут не место подробно говорить ни об этих ошибках неприятельских вождей — Сент-Арно, Канробера и лорда Раглана, — ни о великом подвиге Тотлебена, которым так восхищался, как гениальным инженером, даже неприятель, ни о стойкости, уме, нечеловеческой энергии и доблести Корнилова: мы тут ставим себе задачей проследить лишь индивидуальную роль Нахимова.

Меншиков, уходя и уводя прочь армию, сделал, в сущности, одно дело, которое могло бы подкосить оборону в корень, если бы Корнилов и Нахимов не были Корниловым и Нахимовым, а были генералами, которые завели бы ссоры и пререкания: ведь оба они были оставлены на равных правах, и старшим над ними Меншиков не назначил, в сущности, никого. Старшим по чину, правда, был Моллер, командующий войсками в Севастополе, но мы увидим сейчас, как Нахимов с ними обошелся.

Тут дело решилось быстро: как только обнаружилось, что неприятель двинулся вовсе не на Северную сторону, а на Южную, Нахимов, как уже сказано, заявил, что он хоть и старше годами и службой, но подчинится Корнилову. Это сохранило полное единство командования в брошенном на произвол судьбы в самый опасный момент городе. Нужно тут же сказать, что в эти первые дни — от Альмы до 14 сентября, когда он приказал потопить часть русского флота, то есть то, что было ему дороже жизни, — Нахимов был в самом мрачном состоянии духа, — об этом говорят нам все источники [1]. Он глядел вечерами из окон дома, где жил Корнилов, на Мекензиеву гору и видел то бесчисленные огни английских и французских бивуаков, то медленное движение вражеских масс, все идущих и идущих с Мекензиевой горы в долину Черной речки.

Нахимов уже тогда не верил в возможность спасти Севастополь. Он и позже в это не верил, как ни пытался скрыть это чувство, чтобы не обескуражить бойцов. Но и тогда и потом вывод для себя лично, повидимому, он сделал один и тот же: он, Нахимов, не желает пережить Севастополь. Окружающие как-то чутьем понимали, что либо Нахимов и Севастополь погибнут в один день, либо Нахимов погибнет перед гибелью Севастополя. Следовательно, делая все зависящее, чтобы отсрочить падение крепости, он тем самым боролся за продление своего существования. Еще пока рядом был его друг Корнилов, которого он открыто ставил выше себя, Нахимов редко-редко позволял себе в совсем малой и близкой компании проявлять овладевавшее им

---

[1] «Морской сборник», 1868, ч. 3, стр. 20. Ср. также воспоминания И. Лихачева «В Севастополе 50 лет назад», «Русская старина», 1904, май, стр. 339.

порой в эти сентябрьские дни чувство, близкое к отчаянию, как это было, например, в тот вечер, о котором рассказывает в своих воспоминаниях Лихачев. Но когда Корнилова не стало, никому уже не пришлось наблюдать Нахимова в таком ужасном состоянии. Нахимов знал, что после кровавого дня 5 октября у матросов и солдат, защищающих Севастополь, не осталось никого, кроме него и Тотлебена, может быть, еще впоследствии Истомина, С. Хрулева, А. Хрущова, Васильчикова, — кому они сколько-нибудь верили бы среди высшего командного состава, потому что многочисленные герои из рядовых, герои из низших офицеров известны лишь своим ротам, своим бастионам, своим ложементам, и не в их руках власть над всей обороной, не в их руках жизнь и смерть тысяч, не в их руках участь осажденного города. Доверие именно к начальству — это такая моральная сила, которую ничто решительно на войне заменить не может.

После гибели Корнилова Тотлебен дал окончательно обороне Севастополя материальную оболочку, а Нахимов вдохнул в нее душу, — так говорили потом уцелевшие севастопольцы. Тот, кто стал на место павшего Корнилова и должен был его заменить всецело, уже не считал себя вправе поддаваться даже минутной слабости. В эти двадцать семь дней Корнилов и его три товарища показали, как возможно выйти из невозможного положения, а, начиная с 5 октября, Нахимов сделал для всех ясным, что Корнилов оставил по себе наследника.

Работа Корнилова, Тотлебена, Нахимова, Истомина, начиная от ухода Меншикова с армией, была самая кипучая. Неизвестно было, когда спали, когда ели эти люди. Тотлебен возводил свои гениальные сооружения, Корнилов вооружал бастионы, Нахимов ставил моряков на сухопутную службу. Нужно было затопить часть флота, чтобы он не достался неприятелю и чтобы загромоздить прибрежное дно бухты.

Корнилов, Нахимов, Тотлебен, Истомин просто перестали в эти дни считаться с ушедшим и уведшим свою армию главнокомандующим. По желанию Нахимова, они решили высшую власть по обороне города в эти дни вручить Корнилову, который и созвал совещание. Положение диктовалось обстоятельствами, хотя и не очень гармонировало с воинской дисциплиной.

«Но неужели после альминского сражения власть главнокомандующего поколебалась до того, что приказания его, по важности своей не терпящие отлагательства, не считались уже для его подчиненных обязательными, а им позволительно было совещаться, следует им или нет приводить их в исполнение?» вопрошает по поводу этого созванного Корниловым совещания П. Ф. Хомутов в своих рукописных воспоминаниях о Крымской войне [1].

[1] Рукописное отделение Публичной библиотеки, Q. IV, 818. Бумаги Хомутова, 35 verso.

Документы говорят нам ясно, что в самом деле в эти дни от 9 (21) сентября, когда Меншиков увел армию от Альмы на Мекензиеву гору и дальше на Бельбек, и вплоть до вечера 18 (30) сентября, когда он явился в Севастополь и уведомил Корнилова, что все же, так и быть, усилит севастопольский гарнизон, — престиж главнокомандующего был в глазах Корнилова и Нахимова равен нулю.

Положение становилось отчаянным, и Меншиков решительно не знал, как избегнуть близкой и, казалось, неминуемой катастрофы. «Что делать с флотом?» — спросил Корнилов. «Положите его себе в карман», — отвечал Меншиков. Корнилов, как и все жители Севастополя, узнал об уходе Меншикова с армией к Бахчисараю только после того, как это событие совершилось. Корнилов настойчиво требовал приказаний насчет флота, и приказание было Меншиковым отдано: «вход в бухту загородить, корабли просверлить и изготовить их к затоплению, морские орудия снять, а моряков определить на защиту Севастополя».

Что было делать? На совете, который 9 сентября, на другой день после Альмы, Корнилов собрал в Севастополе, он предложил флоту выйти в море и атаковать неприятельские суда. Гибель была почти неизбежна, но, погибая, флот все же нанес бы серьезный вред неприятелю «и уж во всяком случае — избег бы постыдного плена». Он указал при этом на большой видимый беспорядок в диспозиции неприятельских судов.

Этот отважный план одними присутствующими был одобрен, другими — не одобрен.

Тотчас после заседания Корнилов поехал к Меншикову и заявил, что выйдет в море и нападет на неприятеля. Меншиков категорически отказал, раздражился, видя, что Корнилов стоит на своем, снова приказал затопить суда, — и только когда он объявил Корнилову, что если тот не намерен повиноваться, то он приказывает ему немедленно ехать на службу в Николаев, Корнилов вскричал: «Остановитесь! Это самоубийство... К чему вы меня принуждаете!.. Но чтобы я оставил Севастополь, окруженный неприятелем, — невозможно! Я готов повиноваться вам!» [1]

С рассвета 11 сентября началось потопление судов. Было затоплено пять кораблей. Корнилов обратился к матросам в приказе от этого же числа с такими словами [2]: «Товарищи! Войска наши после кровавой битвы с превосходящим неприятелем отошли к Севастополю, чтобы грудью защищать его. Вы пробовали неприятельские пароходы и видели корабли его, не нуждающиеся в парусах? Он привел двойное количество таких, чтобы наступать на нас с моря. Нам надо отказаться от любимой мысли — разразить врага на воде. К тому же мы нужны для защиты

---

[1] «Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии В. А. Корнилова, собранные и объясненные А. Жандром», стр. 199, СПБ, 1859.

[2] Там же. Текст приказа на стр. 204. Приказ начинался именно этим словом: «Товарищи».

города, где наши дома и у многих семейства. Главнокомандующий решил затопить пять старых кораблей на фарватере. Они временно преградят вход на рейд и вместе с тем усилят войска. Грустно уничтожить свой труд. Много было употреблено нами усилий, чтобы держать корабли, обреченные жертве, в завидном свету порядке. Но надо покориться необходимости. Москва горела, а Русь от этого не погибла...»

Было затоплено, собственно, не пять, а семь судов. Очевидно, Корнилов имел в виду лишь более крупные корабли, когда говорил о пяти[1].

14 сентября Нахимов подписал свой знаменитый приказ: «Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона; я в необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на них команды с абордажным оружием присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет драться, как герой; нас соберется до трех тысяч; сборный пункт на Театральной площади».

Потопление оставшихся судов было приостановлено, как только появилась слабая надежда на то, что неприятель по какой-то непонятной причине отказывается от мысли немедленно штурмовать Севастополь.

Корнилов и Нахимов отказывались понять образ действий Меншикова после Альмы.

«Корнилов распустил по городу слух, главный смысл которого заключался в том, что светлейший будто бы бежал со своими войсками из Севастополя, оставляя его в жертву неприятелю, и что теперь гарнизону предстоит изыскивать самому средства отстаивать родной город», — пишет адъютант Меншикова, делавший при нем карьеру, А. А. Панаев. Он все хочет внушить доверчивому читателю, что уход Меншикова с армией прочь от Севастополя был совершен с технической стороны вполне безукоризненно. На самом же деле и армия и Севастополь не подверглись разгрому и гибели сейчас после Альмы только вследствие грубых ошибок и просчетов французского и английского командования. Ведь сам Панаев описывает, какой дикий беспорядок царил в армии и как 12 сентября фланговое движение Меншикова задержалось на двенадцать часов по оплошности и невежеству в военном деле генерала Кирьякова и как «одно необыкновенное уменье князя (Меншикова) владеть собой удерживало его от выражений отчаяния»[2].

---

[1] Корнилов в своей речи посчитал лишь линейные корабли, не упомянув о двух фрегатах. Приведу официальное его донесение: «По приказанию его светлости князя Александра Сергеевича, корабли: «Три Святителя», «Уриил», «Селифаил», «Варна», «Силистрия» и фрегаты: «Флора» и «Сизополь» затоплены в здешнем фарватере». Военно-ученый архив, 1854, № 5492, 11/IX 1854. Копия с докладной записки начальника штаба Черноморского флота и портов (Корнилов) № 2160.

[2] «Русская старина», 1877, т. XVIII, стр. 388.

Когда капитан Лебедев, посланный Меншиковым с Мекензиевой горы в Севастополь, прибыл туда 13 (25) сентября, то Корнилов допустил его в заседавший как раз военный совет.

Корнилов так сформулировал вопрос, который он предложил совету: «Что предпринять по случаю брошенного на произвол судьбы князем Меншиковым Севастополя?» Можно легко поверить, что Корнилов в самом деле «умышленно невнимательно» обращался при этом с посланцем Меншикова. Нахимов был мягче и расспрашивал Лебедева об армии, уведенной Меншиковым. Но кончил вполне в нахимовском стиле: «Лебедев, по окончании вопросов, спросил Нахимова, в свою очередь, что же ему доложить светлейшему о действиях в Севастополе?

«— А вот скажите, что мы собрали совет и что здесь присутствует наш военный начальник, старейший из нас всех в чине, генерал-лейтенант Моллер, которого я охотно променял бы вот на этого мичмана», — и Нахимов указал на входившего Костырева. «Генерал Моллер, услыхав, что речь идет о нем, приподнявшись, обратился к Павлу Степановичу, но, узнав о предмете разговора, опять сел» [1]. И не только «опять сел», но заявил, что добровольно подчинится младшему в чине Корнилову. Да и как, после подобных комплиментов Нахимова, мог бы он поступить иначе?

Кстати скажем, что, вытесненный Нахимовым из Севастополя за полной ненадобностью, Моллер в конце концов был сбыт с рук и самим Меншиковым, который тоже хорошенько не уяснил себе, что ему делать с этим генералом. «Не знаю, как быть с Моллером: он самый старший из генерал-лейтенантов. Не можете ли вы, чтобы скрыть намеренное удаление, потребовать его у меня...» — просил Меншиков командующего Дунайской армией Горчакова [2].

Корнилов не только убежден был, подобно Тотлебену — да и подобно подавляющему большинству русских командиров, — что союзники могли легко овладеть Севастополем сейчас после сражения при Альме, но он вплоть до 18 (30) сентября считал немедленную гибель города очень вероятной, поскольку Меншиков не прислал подкреплений. 13 (25) Корнилов пишет: «О князе (Меншикове) самые сбивчивые слухи. Что будет, то будет, а надо брать меры. Если князь отрезан и к нам опоздает?..» 14 (26) тот же мотив: «Целый день занимался укреплением города и распределением моряков... Итого у нас наберется 500 резервов Аслановича и 10 000 морских разного оружия, даже с пиками. Хорош гарнизон для защиты каменного лагеря, разбросанного на протяжении многих верст и перерезанного балками так, что

---

[1] «Русская старина», 1877, т. XVIII, стр. 499 («Князь А. С. Меншиков в рассказах бывшего его адъютанта А. А. Панаева»).

[2] Меншиков — Горчакову. Северная, 21 января 1855 г. «Русская старина», 1875, т. XII, стр. 327.

сообщения прямого нет. Но что будет — то и будет. Положил стоять. Слава будет, если устоим, если же нет...» 15 (27) сентября: «О князе ни слуху, ни духу... Укрепляемся, сколько можем, но чего ожидать, кроме позора, с таким клочком войска, разбитого на огромной местности, при укреплениях, созданных в двухнедельное время... Хотим биться до-нельзя, вряд ли поможет это делу. Корабли и все суда готовы к затоплению: пускай достанутся развалины... Вечер — в черных мечтах о будущем России». Еще 18 (30) при известии, что Меншиков «предоставляет Севастополь своим средствам», Корнилов замечает: «Если это будет, — прощай, Севастополь! Если только союзники решатся на что-нибудь смелое, — они нас задавят» [1].

Тотлебен, как мы уже знаем из позднейшего показания Канробера, смотрел в эти дни на положение вещей так же мрачно, как Корнилов и Нахимов. «Наше положение в Севастополе было критическое; ежеминутно готовились мы встретить штурм вдесятеро сильнейшего неприятеля и по крайней мере умереть с честью, как храбрые воины... Севастополь... с сухопутной стороны не был почти совсем укреплен, так что был совершенно открыт для превосходных сил неприятельской армии. Начертание укреплений и расположение войск поручено мне ген.-ад. Корниловым. Нам помогает также храбрый адмирал Нахимов, и все идет хорошо... Случались дни, когда мы теряли всякую надежду спасти Севастополь; я обрекал себя уже смерти, сердце у меня разрывалось...» [2].

Но именно с 18 сентября, когда он писал это письмо, положение уже кажется ему лучше, чем было до сих пор: появилась новая надежда, что Меншиков усилит севастопольский гарнизон и пришлет подмогу.

18 сентября Меншиков, наконец, приблизив свою армию к Севастополю, побывал в городе, виделся с Корниловым и «предупреждал его, чтобы впредь он не беспокоился, если действующему отряду потребуется сделать еще какую-нибудь диверсию затем, чтобы отвлечь внимание неприятеля от Севастополя». Но Корнилов плохо верил в стратегию главнокомандующего и упорствовал на необходимости усилить гарнизон, и князь, «снисходя на односторонний взгляд еще неопытного в военном деле адмирала, уважая лихорадочную его заботливость о сосредоточении себе под руку всех средств к обороне Севастополя, главное же — сознавая, как важно ободрить столь незаменимого своего сподвижника», — согласился. Другими словами, Меншиков в это время не очень уверенно себя чувствовал и не решился спорить с Корниловым, который, повидимому, не весьма и стеснялся с его сиятельством в этот момент: «... Корнилов не сочувствовал

---

[1] «Материалы для истории обороны Севастополя... собранные и объясненные Жандром», стр. 222, 228, 231, 233, 235, СПБ, 1859.

[2] Севастополь, 18 сентября 1854. Извлечено из его переписки. Приложения к 1 тому книги Н. К. Шильдера «Граф Э. И. Тотлебен», стр. 49.

никаким диверсиям, не оценил по достоинству стратегических соображений светлейшего и смотрел на него, как на возвратившегося из бегов», — с грустью констатирует адъютант и поклонник Меншикова А. А. Панаев [1].

Тотчас же из команд, снятых с кораблей, стали формироваться батальоны под начальством корабельных командиров для действия на берегу.

Нахимов все эти дни — 12, 13, 14 сентября и дальше непрерывно перевозил орудия с кораблей на береговые бастионы. Формировал и осматривал команды, следил за вооружением батарей Северной стороны.

2 октября Нахимов вывел оставшийся пока русский флот из Южной бухты и расставил суда так умело и счастливо, что до последнего дня своего существования они могли оказывать максимальную возможную помощь обороне Севастополя.

Начиная с 20 сентября, артиллерийская перестрелка между Севастополем и неприятелем стала несколько усиливаться. Русские старались мешать работе англичан и французов по устройству насыпей в их параллелях, французы и англичане прощупывали слабые места оборонительной линии и стремились помешать кипучей деятельности Тотлебена и его рабочих, которые проявляли совсем неслыханную энергию и спокойствие духа, когда им приходилось местами работать под неприятельским огнем. Этот огонь то замирал, то усиливался. Выпадали сравнительно даже спокойные дни. Приготовления с обеих сторон принимали все больший размах. Близилось страшное 5 (17) октября.

Меншиков хотел было усилить артиллерию, но из его добрых намерений мало что выходило.

Накануне бомбардировки 5 октября (и своей смерти) Корнилов доносил Меншикову: «Не можем сладить с мортирами. Карташевский поставил вчера на бастионе № 4 мортиру, в которую не лезет бомба, равно как и бомбовые 3-пудовые орудия не выдерживают пальбы. Только что поставили таковую на бастионе № 6, как отлетел винград...».

«Казаки просят и сапог. Я решил им выдать, они все претендуют, что им не выдавали за две трети жалованья». [2]

Все усиливалась и грандиозно развивалась в самых разнообразных направлениях неутомимая деятельность Нахимова по обороне. Они с Корниловым соперничали, выказывая неслыханную отвагу. Этим в Севастополе было трудно удивить, но они оба все-таки удивляли и матросов и солдат. Они проявляли быструю находчивость и распорядительность. Тотлебен уже начал свое дело, — и Корнилов и Нахимов мечтали лишь об одном, чтобы штурм последовал как можно позже, когда Тотле-

---

[1] Князь А. С. Меншиков в рассказах А. А. Панаева. «Русская старина», 1877 г., т. XVIII, стр. 699.

[2] Военно-морской архив. Фонд Меншикова, папка 109, 1854 г. Севастополь, 4 октября 8 час. утра.

бен успеет произвести хоть часть своих работ. Штурма не последовало, — но 5 октября 1854 года с восходом солнца загремела страшная «первая» бомбардировка с суши, а спустя несколько часов — и с моря, из самых усовершенствованных орудий морской артиллерии того времени. Три адмирала — Нахимов, Корнилов, Истомин — с рассвета руководили ответным огнем русских батарей и объезжали бастионы. На пятом бастионе в этот день Корнилов и Нахимов встретились и долго там пробыли вместе под адским огнем неприятеля.

«На 5-м бастионе мы нашли Павла Степановича Нахимова, который распоряжался на батареях, как на корабле; здесь, как и там, он был в сюртуке, с эполетами, отличавшими его от других во время осады», — пишет сопровождавший Корнилова в этот день и час его флаг-офицер Жандр. «Разговаривая с Павлом Степановичем, Корнилов взошел на банкет у исходящего угла бастиона, и оттуда они долго следили за повреждениями, наносимыми врагам нашей артиллерией; ядра свистели около, обдавая нас землей и кровью убитых; бомбы лопались вокруг, поражая прислугу орудий» [1]. Затем Корнилов отправился на другие бастионы. Корнилов был смертельно ранен ядром в двенадцатом часу дня на Малаховом кургане. Огонь уже ослабевал, бомбардировка подходила к концу, когда Нахимов узнал роковую весть... Капитан Асланбеков рассказывает, как вечером, узнав о гибели Корнилова, он поехал поклониться его праху и войдя в зал, увидел Нахимова, который плакал и целовал мертвого товарища.

Из четырех человек, организовавших защиту Севастополя, ураганная бомбардировка 5 (17) октября 1854 года унесла одного. Замены ему, которая извне вступила бы в эту маленькую группу, не было ни тогда, ни впоследствии. Вообще, этой былой четверке суждено было отныне уменьшаться, но не сменяться и не пополняться в личном составе. Осталось трое — Нахимов, Тотлебен, Истомин, — и роль фактического начальника, вождя, «хозяина Севастополя» перешла непосредственно к Нахимову. С этого времени он работал и за себя и за мертвого Корнилова.

Но роль Нахимова и этой маленькой группы его товарищей все-таки не будет ясна, если мы не напомним читателю о том, до какой степени они были лишены поддержки со стороны всего центрального командования армии и военного министерства.

V.

Достаточно ознакомиться с хранящимися в Военно-ученом архиве (в Москве) письмами Меншикова к министру Долгору-

[1] «Материалы для истории обороны Севастополя... собранные и объясненные А. Жандром», стр. 293—294, СПБ, 1859.

кову, чтобы вполне удостовериться, что Севастополь был на волосок от сдачи не только сейчас после Альмы, но и в октябре и ноябре 1854 года.

«Если Севастополь падет, по крайней мере Крым не может быть у нас отнят», — успокаивает Меншиков Долгорукова 11 октября 1854 года»[1]. Но военного министра, впрочем, незачем было успокаивать: он и сам по себе не очень беспокоился. Он все только грустил, что севастопольские артиллеристы, отстреливаясь, тратят много пороха. Он, министр, пороха подослать не подсылает и даже не надеется во-время подослать, но зато уповает на помощь всевышнего бога, о каковом своем уповании уведомляет Меншикова[2]. Преждевременно одряхлевший и опустившийся царедворец, которым являлся в эту пору своей жизни князь Василий Долгоруков, усталый, себялюбивый, ничем решительно душевно не интересующийся скептик и циник Меншиков, совсем готовый сдать Севастополь и вполне спокойно и равнодушно предвидящий в ближайшем будущем этот случай, — вот каких людей мы видим как бы воочию, читая эту переписку. В «постскриптуме», — очевидно, за более интересным материалом нехватило раньше места в письме или просто вылетело из памяти, так как всех «мелочей» не упомнишь, — Долгоруков пишет Меншикову 23 октября из Петербурга: «Если Севастополь еще не взят, как мы надеемся, — не найдете ли вы уместным приступить, как только это станет возможным, к комбинации для усиления его защиты?»[3]. Эта нелепая, пустопорожняя фраза, вполне достойная таких же ответных пустейших записочек Меншикова, писалась военным министром Российской империи как раз тогда, когда защитники Севастополя уже считали, что самый страшный момент прошел и что можно и должно еще держаться.

Конечно, при своем уме, тонкости и подозрительности, Меншиков понимал то, что навсегда осталось тайной, например, для того же придворного карьериста и маститого соглядатая, изжившего свой век исключительно на подсиживаньях, подкарауливаньях и интригах, — князя Василия Долгорукова.

Меншиков знал, что и Корнилов, до самой смерти, и Нахимов, матросы, обороняющие город, относились и относятся к судьбе Севастополя не так, как он и его корреспондент, а совсем по-другому. Поэтому, когда из Петербурга подсказывали Меншикову, что ввиду скорой сдачи Севастополя следовало бы приказать уничтожить в городе все, что нельзя вывез-

---

[1] Военно-ученый архив № 5452. Кн. Меншиков — кн. Долгорукову. 11/X 1854 г. Бивуак между Инкерманом и Бельбеком... «Si Sevastopol tom e, du moins la Crimée ne peut plus nous être enlevée...»

[2] Военно-ученый архив, № 5452. Кн. Долгоруков — кн. Меншикову. Гатчино 21 октября: «Elle (la Russie) mérite la protection du tout Puissant».

[3] Военно-ученый архив, 1854—1855, № 5452. St-Pétersbourg, le 23 octore 1854.

ти, то Меншиков отказывался это сделать, попросту не решаясь такого рода приказ переслать Нахимову и его матросам. Вот как осторожно на изящном французском языке высказывает Меншиков эту деликатную мысль в письме к военному министру от 4 ноября: «В Севастополе я не могу сделать до последнего момента никакого распоряжения об уничтожении материальной части, так как тотчас обнаружился бы упадок духа между матросами, которые в защите этой крепости видят защиту своего рода собственности и защиту флота» [1].

Меншиков соображал, что одно дело по-французски переписываться с Долгоруковым о сдаче Севастополя, а другое — отдать на русском языке Нахимову и его матросам, Тотлебену и его саперам и землекопам-рабочим приказ о передаче города французам и англичанам. Он ведь знал, конечно, о тех настроениях, о которых повествовал впоследствии Ухтомский, говоря, что «между моряками прямо обвиняли (начальника штаба) в равнодушии к делу и чуть ли не в измене» [2]. И он, ни на что не решаясь, продолжал себе из своего прекрасного далека, сначала из Бельбека, потом из Северной стороны, которую он из любезности к военному министру Долгорукову, не очень твердому в русском языке, называет «severnaya», наблюдать за тем, как Нахимов, Тотлебен, Истомин, Хрулев и их матросы и солдаты бьются и погибают на севастопольских редутах.

Тут не место, впрочем, говорить систематически обо всем, что дают документы для характеристики позиции и настроений Петербурга, с одной стороны, Меншикова, с другой стороны. Пока мне необходимо было лишь пояснить, до какой степени Корнилов, Нахимов, Тотлебен были всецело предоставлены после Альмы не только собственным ничтожным материальным силам, но и исключительно собственному разумению и собственной ответственности.

В Севастополе негодование по поводу полнейшего безучастия и совершенной негодности военного министра Долгорукова было всеобщим [3]. Пороха нехватало, снаряды «опаздывали», в бастионах царил полуголодный режим, воровство военного интендантства при подозрительнейшем попустительстве Петербурга и кое-кого из генералов в самом Крыму дошло до каких-то буйных, гомерических размеров, которых даже русская

[1] Военно-ученый архив 1854—1855, № 5452 Severnaya prés de Sévastopol le 3 novem re 1854. Меншиков — Долгорукову. «A Sévastopol je ne peux faire aucune disposition de destruction du matériel jusq'au dernier moment, car le découragement se montrerait de suite parmi les matelots, qui voient dans la défense de cette forteresse la défense d'uneespce de proprietéet celle de la flotte».

[2] Архив Севастопольского музея обороны, 5120, IV, Черновые заметки, Ухтомского.

[3] Одесский исторический архив. 1138, архив № 23, Зеленого, Заметки Милошевича (больные умирают с голоду, продовольствия нет, полнейшая бездарность и никчемность министра Долгорукова.)

интендантская история не знала со времени кампании 1806—1807 годов в Восточной Пруссии, а Долгоруков продолжал себе и в 1855 году пописывать французские интимные записочки Меншикову, в таком, например, стиле: «... Мы все в постоянной лихорадке от того, что делается в Крыму... нельзя достаточно восхищаться героизмом войск... Да благословит бог их энергию и да спасет он наш прекрасный полуостров!.. Когда же союзники истощат запас своих снарядов?.. Одиннадцать дней непрерывной бомбардировки — это ужасно! Ах, дорогой князь, когда же мы с вами будем иметь хоть немного покоя? Вы не можете себе представить, что я иногда испытываю! В жизни своей я не думал, что буду доведен до моральных страданий, подобных тем, которые испытываю!.. Какая разница между годами 53, 54 и 55-м — и теми годами, которые им предшествовали! Наша жизнь так приятно протекала тогда (Nous coulions si agréablement notre vie alors!)» [1].

Этой лирикой занимались люди, в руках которых была участь армии, участь Севастополя, безопасность России, военная честь русского имени. «Моральные страдания» ничуть не мешали военному министру настойчиво покровительствовать крупнейшим ворам в эполетах и без эполет, сидевшим, конечно, не в Севастополе, а в более безопасных местах. Ничто не препятствовало ему также успокаивать себя отрадными размышлениями о солдатах, героизм которых может, следует надеяться, заменить им мясо и кашу, и цельные подметки, порох и снаряды.

Окончательно князь Василий Андреевич исцелился от одолевавших его деликатных «моральных страданий», когда вскоре после падения Севастополя благополучно и с повышением в чине перешел на несравненно более спокойную должность шефа жандармов и главного начальника III отделения. В этой должности он успешно организовал в свое время, между многим прочим, также судебное убийство Чернышевского, и, не покладая рук, не щадя уж на этот раз в самом деле своих сил, боролся против освобождения крестьян, став, вместе с графом Шуваловым, во главе крепостнической партии.

Меншиков был умнее и если не чище, то брезгливее Долгорукова, но, конечно, и военный министр, и все те «мы», жизнь которых «протекала так приятно» в окрестностях Зимнего дворца до 1853 года — были своими, родными, близкими для Меншикова. А «боцман», «матрос» Нахимов, нищий инженер Тотлебен, худородные Корнилов или Истомин были ему совершенно чужды и определенно неприятны. Общего языка с ними он не только не нашел, но и не искал. Эти чужие ему люди сливались с той серой массой грязных и голодных матросов и солдат, с которой Меншиков уже окончательно ровно ничего общего не имел и не хотел иметь.

---

[1] Военно-ученый архив, 1854—1855, 213—216, № 8452, Prince Dolgorouky au prince Menschikov.

Лично честный человек, Меншиков прекрасно знал, какая вакханалия воровства происходит вокруг войны, знал, что солдаты либо недоедают часто, либо отравляются заведомо негодными припасами. Знал и грабителей, даже изредка называл их по фамилии. Но — не все ли равно? Грабителей так много, что не стоит и возиться. «Из доставленных нам сухарей одна партия положительно никуда не годится; но так как между счетчиками магазина, с одной стороны, и полковыми — с другой, произошла стачка, то мне пришлось бросить розыски», писал он осенью 1854 г.

Матросы и солдаты всегда интересовали Меншикова так мало, что он по своей инициативе почти никогда и не осведомлялся, что они едят и вообще едят ли они.

Всячески силящийся оправдать Меншикова его адъютант и панегирист Панаев приводит *единственный* случай, когда Меншиков хотел было позаняться этим любопытным вопросом, — и вот что из этого вышло.

«Возвращаясь по линии резервов, мы застали в последнем резерве ужинавших солдат: они черпали из манерок какую-то жидкость, похожую на кофе, вылавливая в ней кусочки, черные, как угольки. Эта похлебка обратила на себя внимание князя; он приветствовал людей обычным пожеланием: «Хлеба-соли», пристально посмотрел на кушанье и проехал мимо, приказав мне слезть с лошади и попробовать пищу.

«Я исполнил приказание князя и крайне удивился, когда, отведав, увидел, что это был не кофе, а вода, окрашенная сухарями последней приемки. Определить вкус этой жидкости было невозможно, она пахла гнилью и драла горло. Догнав главнокомандующего, я доложил ему о том, чем питаются солдаты. Его как бы передернуло, и он почти вскрикнул: «Ах, это верно, из южной армии нам прислали те самые сухари, которые во множестве были забракованы войсками Горчакова. Интендантство сбыло их мне, и то, что мы давеча видели с тобой, был не напиток.. а те же несчастные сухари».

«Стиснув зубы, Меншиков погнал лошадь через кусты и рытвины напрямик домой». Меншиков отправил Панаева к генералу Липранди: «Поезжай к Липранди и попроси его поучить меня, что мне делать с этими негодными сухарями? Липранди — человек практичный и бывалый — авось что-нибудь придумает, а я растерялся. Как! Целая армия должна есть гнилушки!»

Этого Павла Петровича Липранди не следует смешивать с Иваном Петровичем, исполнявшим шпионско-провокаторские функции при министерстве внутренних дел Перовского и «открывшим» дело Петрашевского. Павел Петровил был из числа немногих дельных генералов — и притом не только был лично честен, но даже был в 1844 году награжден «за особую заботливость об улучшении солдатского быта и за составление правил, относящихся до продовольствия нижних чинов».

И вот что Липранди ответил: «Видел я эти сухари: съедят!

Скажите князю, чтобы он не беспокоился и, главное, не примечал бы их, да не подымал истории. Других нет, на нет и суда нет! Солдаты видят, чего стоило и эти-то сухари привезти, они не жалуются, не надо показывать и вида, что вы их жалеете. Ну, как-нибудь подправим, в ротах это сделают: и я вам скажу, чем солдат голоднее, тем он злее. Нам того и нужно. Лучше будет драться...»

Когда эти речи были доложены Меншикову, князь мигом успокоился и сказал «с грустной улыбкой»:

« — Липранди прав, истории затевать не надо. Заменить этого провианта нечем, поневоле приходится его есть. Но какую же штуку сыграло со мной интендантство южной армии, ловко же оно воспользовалось нашей крайностью!» [1]

Так, этой «грустной улыбкой» светлейшего князя дело и окончилось. Совесть не подсказала Меншикову, что интендантская «ловкость» ведь именно в том и заключалась, чтобы подсунуть ему, плотно окруженному ворами и взяточниками, ту совсем уже зловонную гниль, которую отказался принять командовавший Южной (Дунайской) армией Горчаков, все же не так возмутительно потакавший грабителям.

Деньги, отпускавшиеся миллионами, разворовывались по дороге, и то, что доходило до роты, получалось с огромным опозданием. Между интендантами и полковым начальством, — пишет очевидец, — «установился невысказанный, но всем понятный договор: не требовать от интендантства фуража в натуре и за это пользоваться выгодами от ненормально возвышаемых цен, кто как умеет и у кого насколько хватит совести. Но и эта паллиативная мера принесла только зло и никакой пользы. Командиры действительно не требовали более от интендантства фуража в натуре, но зато и лошадей почти вовсе перестали кормить» [2].

Полнейшая, абсолютная безнаказанность была при князе Меншикове гарантирована всем ворам, взяточникам, казнокрадам.

Вот, в разгар войны, в ноябре, из опаснейшей позиции, из стоящей под Сапун-горой бригады, где уже давно мрут от голода и лошади, которых кормят древесными опилками и стружками, и люди, которых вообще предпочитают не кормить, приезжает офицер и является в интендантство за деньгами. Предоставим ему слово (пишет и печатает все это он всего через пятнадцать лет после Крымской войны, когда еще здравствовали почти все заинтересованные).

« — Вы г. управляющий?

« — Точно так. Что вам угодно?

« — Могу ли я получить деньги для бригады по этим требованиям?

---

[1] А. А. Панаев, кн. А. С. Меншиков, 290—291, «Русская старина» 1877, т. XIX.

[2] Из походных воспоминаний о Крымской войне». «Русский архив» 1870, стр. 2050.

« — Деньги вы можете получить, но это будет зависеть от вас самих, — добавил он глубокомысленно...

« — Может быть, деньги сейчас получить можно? Не задерживайте меня, пожалуйста.

«Управляющий вздохнул, потер лоб, будто о чем-то размышляя, наконец, проницательно взглянув на меня, хладнокровно спросил:

« — А сколько вы даете процентов?

«Я... не мог допустить такой патриархальной бесцеремонности и не вдруг понял вопрос управляющего.

« — Какие проценты? С чего?.. Объяснитесь, пожалуйста, — проговорил я, немного сконфузившись.

« — Я спрашиваю вас, молодой человек, — начал управляющий наставительным тоном, — сколько вы мне заплатите за те деньги, которые я прикажу отпустить для батареи вашей бригады? Мне обыкновенно платят по восьми процентов и более, но вы, артиллеристы, народ упрямый и любите торговаться. Ну, с вас можно взять и подешевле, однако предупреждаю: менее шести процентов ни за что не возьму, нельзя!»

«Такой бесстыдный и хладнокровный грабеж вывел меня из терпения...» Офицер стал грозить, что донесет высшим властям. А тот твердил: «Эх, молодой человек! Горячки в вас много, а толку мало!.. Что же я буду за дурак, — продолжал он, вдруг воодушевившись и встав с кресла, — если я буду раздавать деньги зря? Нужны деньги — бери да заплати! Ведь я не с нищего пользуюсь! Ваши командиры не шесть процентов, а чуть не рубль за рубль получают!»

«Все это он излагал при многих офицерах, бывших в комнате. Я был тогда очень молод, очень неопытен, и такое нахальное бесстыдство не мог переварить.

« — Господа офицеры, — заговорил я, едва сдерживая себя, — прошу засвидетельствовать, что говорит г. управляющий...

«Пехотные помолчали, а гусары, улыбаясь и вежливо поклонившись, ответили:

« — Извините, мы в семейные дела не вмешиваемся» [1].

На том и окончилось. Офицер отъехал ни с чем и стал предъявлять свои бригадные «требования» в других местах, почти с таким же успехом...

Меншиков даже и не пробовал обратить внимание Николая на оргию грабительства, от которой прямо погибала армия.

О «тридцатилетней привычке сообщать только приятное», образовавшейся у приближенных Николая за все его царствование, говорит (как раз по поводу А. С. Меншикова) и такой консерватор и убежденный монархист, как князь Щербатов, приписывающий проигрыш Крымской войны прежде всего

---

[1] «Из походных воспоминаний о Крымской войне». «Русский архив» 1870, стр. 2053

тому, что все («запасы хлеба, сена, овса, рабочий скот, лошади, телеги, все, что могло дать население») — все было направлено на бумаге к услугам армии, а на деле было разворовано до такой степени, что «армия терпела постоянный недостаток в продовольствии, а кавалерия и парки не могли двигаться...»

«...К этим результатам привела вся система тогдашнего режима» [1].

И матросы, и солдаты чувствовали упорное и решительное не только нерасположение, но и прямое недоверие к Меншикову, готовы были поверить любому слуху, чернящему главнокомандующего.

«Матросы называли князя Меншикова «анафемой», а войска называли его князем Изменщиковым» [2].

Правда, лично самого Меншикова не обвиняли в хищениях, во взяточничестве, в кормлении солдат и матросов сгнившими сухарями, в продаже корпии и лечебных припасов англичанам. В этом — из высших чинов — обвиняли иной раз князя В. А. Долгорукова, военного министра. Но и относительно Долгорукова лично это обвинение не подтверждается никакими документами и никакими сколько-нибудь серьезными показаниями: преступление Долгорукова, как и его предшественника и бывшего начальника Чернышева, заключалось в полнейшей дезорганизации всего управления армией и снабжения ее, в безнадежном хаосе, безобразном беспорядке, до которого была доведена армия.

Князь Д. Д. Оболенский рассказывал, что уже после Крымской войны бывший военный министр князь В. Долгоруков встретился в Биаррице с Наполеоном III и «довольно наивно рассказывал про нашу военную организацию времени кампании 1854—55 гг. После одного разговора Наполеон III вскочил и, не утерпев, воскликнул: «Знай я это, я бы Сент-Арно повесил!».

Интереснее всего тут именно то, что сам Василий Долгоруков, русский военный министр, ответственный в первую голову за страшную разруху в русской военной организации, — юмористически объяснял изумленному французскому императору, до какой степени ровно ничего не было российским правительством сделано для обороны Севастополя и до какой степени французский главнокомандующий опростоволосился после Альмы, не решившись без всяких околичностей сразу же итти прямо на совершенно беззащитный город и занять его.

Такой военный министр, как Василий Долгоруков, был совершенно подстать такому верховному главнокомандующему, как князь Меншиков.

---

[1] Кн. Щербатов, Кн. Паскевич, т. VII, стр. 316. СПБ. 1904.

[2] Военно-ученый архив. 1854—1856, № 5968. Выписки из журнала Севастополя, напечатанного за границей.

Еще когда Меншиков весной 1853 года отправлялся в Турцию в свое роковое посольство, которому суждено было так ускорить войну, все сколько-нибудь знавшие его смотрели с очень большой тревогой на эту странную импровизацию Николая I, вдруг произведшего Меншикова в дипломаты.

При отъезде князя Меншикова из Петербурга в Константинополь князь Варшавский (Паскевич) в небольшом своем кругу выразился: «От посольства князя Меншикова я не жду добра. Человек, который в продолжение тридцати лет занимался только каламбурами и остротами, к делу непригоден».

Но каламбуры оказались очень неудовлетворительной подготовкой и к занятию поста главнокомандующего армией и флотом в войне России разом с тремя державами как на суше, так и на море.

И все, кто был поумнее в армии, это отлично знали. «Одного нет у царя могучего: нет у него вождей для войска. Повывелся и поизрасходовался этот народ... Знает про то батюшка-царь и творит он генералов: что праздник — то дюжина, но уж, знать, беда такая: выходят все генералы праздничные да дюжинные», — читаем мы в рукописи полковника Менькова.

Сказывалась система, принципиально изгонявшая науку из военного обихода, посадившая безграмотного Сухозанета в начальники военной академии со специальным поручением сократить науку и в этом учреждении, свести ее, по возможности, к нулю.

«Мне не нужно ученых голов, мне нужны верноподданные», это царь заявлял неоднократно и охотнее всего именно в тех случаях, когда дело шло об офицерах или кадетах.

В особенности неуместной признавалась наука, даже военная наука, для военного человека.

«Наука в военном деле не более, как пуговица к мундиру: мундир без пуговицы нельзя надеть, но пуговица не составляет всего мундира». Это глубокомысленное изречение президента Военной академии ген. Сухозанета было положено в основу всего военного преподавания при Николае. Воспоминание о декабристах, о самом образованном, самом культурном поколении командного состава за всю историю императорской России, продолжало действовать и пугать царя. Основная цель — резкое понижение умственных запросов и всего духовного уровня офицерства и генералитета — была достигнута. Генералы, читавшие почти по складам и не умевшие писать без грубейших грамматических ошибок, стали довольно частым явлением к концу царствования Николая. Из Военной академии выпускались офицеры, не только не имевшие серьезных и сколько-нибудь точных представлений об истории военного искусства, но просто лишенные тех элементарнейших познаний в стратегии и тактике, без которых сколько-нибудь полезная служба в штабе является невозможной. И дорого пришлось заплатить русской армии собственной кровью за фактическое уничтожение высшего

военного образования при Николае. Дезорганизация, невежественность и полная пассивность штабов производили прямо удручающее впечатление на всех сколько-нибудь вдумчивых наблюдателей.

Результаты такого рода постановки военных наук в Военной академии сказались в Крымскую войну самым наглядным образом. Вот нелицеприятный и обильно подтверждаемый другими источниками приговор: «Не я один убедился в том, в последнюю войну большая часть офицеров генерального штаба были неопытны, и трудно даже поверить, что многие из них не умели вести аванпостных журналов и тем менее быть полезными при отдельных отрядах; а между тем офицеры эти получили образование в академии и слушали курсы высшей тактики, стратегии и военной истории. У нас как-то не удаются эти специальности: их обратили в средство к достижению скорейшего повышения в чинах за поверхностные сведения»[1].

Решительно лишенный какого бы то ни было военного образования, Меншиков был вполне подстать прочим. Но, кроме того, у него не было и ни малейших чисто практических военных навыков, которые все-таки были у других.

Моряки не хотели всерьез верить, что князь Меншиков — адмирал над всеми адмиралами; армейские военные не понимали, почему он генерал над всеми генералами; ни те, ни другие не могли, главным образом, взять в толк, почему он — главнокомандующий? И напрасно его панегиристы старались впоследствии приписать его непопулярность чьим-то интригам и уж совсем неосновательно усматривали со стороны Меншикова какие-то «старания» заслужить любовь армии. Ни интриг не было, ни «стараний» не проявлялось.

«...Старания князя были мало успешны: моряки его постоянно дичились. В этом был много виноват Корнилов. Человек развитой, умный, много работавший с князем, хорошо знавший его намерения, мысли, предположения, — от него светлейший ничего не скрывал, — Корнилов мог содействовать его сближению с моряками, но, к сожалению, он этого не только не делал, а еще колебал к нему доверенность как моряков, так и сухопутных войск».

Так пишет почтительный адъютант Меншикова А. А. Панаев[2]. Он не понимает, что оттого-то Корнилов и не терпел Меншикова, что видел его насквозь. Панаев грустит, что моряки никак не чувствуют себя польщенными, если «из одиннадцати мундиров, право носить которые было ему предоставлено, князь избрал и предпочитал морской».

Нахимов и Корнилов ведь очень хорошо понимали, что по всем своим одиннадцати должностям, по которым Меншиков

---

[1] И. Ушаков. Записки очевидца о войне России против Турции и западных держав, стр. 199.

[2] «Русская старина», 1877, т. XVIII, стр. 115.

пользуется доходом и мундиром, он ровно ничего не делает, но что губительнее всего его пребывание именно на посту морского министра и главнокомандующего Черноморским флотом.

«Прекрасные, братец, есть ребята, между моряками... меня они не любят — что делать: не угодил!» Так снисходительно и развязно отзывался этот развлекавшийся то дипломатией, то войной петербургский знатный барин о людях, которым суждено было все же прославить Россию, несмотря на то, что царь наградил их таким верховным командиром. Солдатам он тоже «не угодил», точь-в-точь как морякам.

Вот картина с натуры, зарисованная таким правдивым свидетелем, как герой обороны полковник, потом генерал Виктор Илларионович Васильчиков. Он прибыл сейчас же после Альмы в армию Меншикова на Бельбек. «Два дня прошлялся я в лагере, ожидая отправления, и, конечно, многого рассмотреть не мог в это время. Видел всеобщее уныние и грусть; видел, что между войсками и их главнокомандующим не было никакого общения; видел, как начальник проезжал перед войсками, никогда с ними не здороваясь, видел, как люди сурово и молча посматривали на этого начальника, — и удивлялся. Видел, наконец, совершенную бестолковщину в администрации полковника Вунша, исправлявшего чуть ли не с двумя писарями должности и начальника штаба, и интенданта, и удивлялся тому, что умный человек, каким был князь Меншиков, мог дойти до такой бессмыслицы».

Совсем не тот дух царил в оставленном армией Севастополе: «Подвечер я удостоился увидеть еще раз адмирала Корнилова, который принял меня очень любезно, дал мне лошадь и сам провел по главнейшим частям оборонительной линии. Отрадно было видеть тот контраст, какой существовал между настроением защитников Севастополя и унылыми обитателями Бельбекского лагеря. Здесь (в Севастополе) все кипело, все надеялось, если не победить, то заслужить в предстоящем решительном бою одобрение и признательность России; там — все поникло головой и как бы страшилось приговора отечества и современников»[1].

Меншиков к концу 1854 года совсем махнул рукой на оборону Севастополя. «Севастополь падет в обоих случаях: если неприятель, усилив свои средства, успеет занять бастион № 4, и также если он продлит осаду, заставляя нас издерживать порох. Пороху у нас хватит только на несколько дней, и, если не привезут свежего, придется вывести гарнизон», — таковы были перспективы Меншикова в начале ноября 1854 года.

О военном министре, князе Василии Долгорукове, с которым он так ласково переписывался, Меншиков выражался в том

---

[1] Записки князя В. И. Васильчикова. «Русский архив», 1891, № 6, стр. 192.

смысле, что «князь Василий Долгоруков имеет тройное отношение к пороху: он пороху не нюхал, пороху не выдумал и пороху не посылает в Севастополь»[1]. Но дальше этой выходки Меншиков не пошел, и больше ничего против Долгорукова не предпринял.

Пороху кн. Долгоруков не мог доставлять в Севастополь ни осенью, ни зимой, ни весной в сколько-нибудь достаточном количестве.

Вот бесхитростное показание молодого тогда М. Г. Черняева (получившего за свою восьмимесячную службу на Малаховом кургане золотую саблю): «Когда начались бомбардировки на св. неделе, пороху у нас почти не было и потому мы не могли отвечать неприятелю, он же замечательно наловчился попадать в свою цель... ...В это самое время приехал к нам ген. Горчаков и мы по случаю праздника выпросили у него 150 выстрелов»[2].

Это выпрашивание «по случаю праздника» безоружными, в упор расстреливаемыми людьми пороху на сто пятьдесят выстрелов, чтобы хоть изредка отвечать вражеским батареям — так красноречиво, что не нуждается в комментариях[3].

К этому прибавилось и отсутствие подвоза продовольствия, то есть полуголодное существование солдат. «Плут» такой-то задержал транспорт сухарей, чтобы сбыть негодные сухари, «сгнившие до того, что даже при недобросовестной сортировке их нельзя употребить в дело», — пишет Меншиков 2 декабря 1854 года, а спустя три недели дело стало еще хуже: «Дороги из Симферополя сюда (в Севастополь. — Е. Т.) в такой степени разбиты, недостаток в фураже таков, что никто, — ни возчики, ни кулаки, — даже за баснословные цены, не решаются взять на себя перевозку сюда чего-либо»[4].

В Севастополе, под ядрами, его защитники работали с прежним упорством и гнали от себя всякую мысль о сдаче города.

VI

С первого дня бомбардировки Нахимов и Тотлебен ежедневно бывали на четвертом бастионе, но Тотлебен, занятый постройкой и поправкой укреплений, должен был несколько разредить свои посещения, а Нахимов занялся бастионом специально и занялся вплотную. Положение было такое: фран-

---

[1] Меншиков — Горчакову, Севастополь, Северная, 2 ноября 1854 г., «Русская старина», 1875, т. XII, стр. 312.

[2] М. Г. Черняев, 457 («Русск. Архив», 1906—1).

[3] Государственный литературный музей, № 2966. Записки Д. А. Оболенского

[4] Меншиков — Горчакову. Северная, 22 декабря 1854 г., «Русская старина», 1875, т. XII, стр. 322.

цузы направили сейчас же после первой грандиозной общей бомбардировки 5 октября 1854 года главные свои усилия на этот ближе всех выдвинутый к ним бастион. Послушаем командира этого бастиона капитана 1-го ранга Реймерса: «От начала бомбардирования и, можно сказать, до конца его четвертый бастион находился более всех под выстрелами неприятеля, и не проходило дня в продолжение всей моей восьмимесячной службы, который бы оставался без пальбы. В большие же праздники французы на свои места сажали турок и этим не давали нам ни минуты покоя. Случались дни и ночи, в которые на наш бастион падало до двух тысяч бомб и действовало несколько сот орудий...»

Уже после первых дней осады и бомбардировки собственно бастион был ямой, где защитники без всякого прикрытия, если не считать жалких брустверов, истреблялись систематически огнем французских батарей. Нахимов в полном смысле слова стал **создавать** бастион и создал его. «В первые два месяца на четвертом бастионе не было блиндажей для команды и офицеров, все мы помещались в старых казармах; но когда неприятель об этом разведал, то направил на них выстрелы и срыл их. Вообще внутренность бастиона представляла тогда ужасный беспорядок. Снаряды неприятельские в большом количестве валялись по всему бастиону; земля для исправления брустверов для большей поспешности бралась тут же, около орудий, а потому вся кругом была изрыта и представляла неудобства даже для ходьбы».

Нахимов решил, что без блиндажей — бастиону конец. «Адмирал Нахимов, приходя ко мне, каждый раз выговаривал: обратить внимание на приведение бастиона в порядок и устройство блиндажей. Но мне казалась эта работа тогда невозможной, так как под сильным огнем и беспрерывным разорением брустверов нам едва хватало времени поспевать к утру с исправлением повреждений брустверов». И при этих невероятных условиях блиндажи были созданы, и люди получили хоть какое-нибудь прикрытие.

Бастион был занят в значительной мере матросами, для которых величайшей наградой были слова, сказанные Нахимовым после постройки блиндажей и приведения бастиона в порядок: «Теперь я вижу, что для черноморца невозможного ничего нет-с».

Нахимов приносил на бастион георгиевские кресты, которые и раздавал особенно отличившимся за последние несколько суток. «Нахимов, приходя первое время к нам на бастион, подсмеивался над тем, кто при пролете штуцерной пули невольно приседал, говоря: что вы мне кланяетесь?» Нахимовские порядки, заведенные им во флоте, были им теперь заведены и на бастионах Севастополя, и это не очень нравилось армейскому командному составу: «... армейские офицеры удивлялись тому, что наши матросики, не снимая шапки, так свободно говорят с ним и что вообще у нас слаба дисциплина. Но на самом

деле они впоследствии убедились в противном, видя, как моментально, по первому приказанию, те же матросы бросались исполнять самые опасные работы. Солдаты, поступившие к орудиям, делались совершенно другими людьми, видя отважные выходки матросов».

Таковы точные и правдивые показания командира четвертого бастиона Реймерса, сделанные им перед тем, как осколок бомбы вывел и его из строя[1].

Отношения, заведенные Нахимовым во флоте, сохранялись всецело на севастопольских бастионах, и если можно назвать «бытом» ежедневное и еженощное пребывание под французскими и английскими бомбами, ядрами, ракетами и штуцерными пулями, то нахимовский «быт» оставался прежним. Предоставим слово очевидцу. «Особенной популярностью у севастопольцев пользовалось бессмертное имя Павла Степановича Нахимова, так как у моряков не принято было величать своих начальников и офицеров по чинам. Ни ваше благородие, ни превосходительство вовсе не употреблялось в объяснениях, а звали начальство просто по имени и отчеству, иногда не помня даже фамилии своего офицера.

... Как сейчас, вижу этот незабвенный тип: верхом на казацкой лошади с нагайкой в правой руке, всегда при шпаге и в адмиральских эполетах на флотском сюртуке, с шапкой, надетой почти на затылок, следует он, бывало, до бастиона верхом в сопровождении казака. Панталоны без штрипок вечно собьются у него у коленей, так что из-под них выглядывают голенища и белье, ему и горя мало, на подобные мелочи он не обращал внимания.

«Останавливаясь у подошвы нашего бастионного кургана, Павел Степанович, по обыкновению, слезал с лошади, оправлял панталоны и шествовал по бастиону пешком. «Павел Степаныч! Павел Степаныч!» — зашумят, бывало, радостно матросы, — и все флотское как будто охорашивается, желая показаться молодцоватее своему знаменитому адмиралу, герою Синопа. «Здравия желаем, Павел Степаныч!» — отзовется какой-либо смельчак из группы матросов, приветствуя своего любимого командира: «Всё ли здоровы?» — «Здоров, Грядка, как видишь», — добродушно ответит Павел Степанович, следуя дальше». «А что, Синоп забыл?» — спрашивает он другого. «Как можно! Помилуйте, Павел Степаныч! Небось и теперь почесывается турок!» — усмехается матрос. «Молодец!» — заметит Нахимов. Либо, потрепав иного молодца по плечу, сам завязывает разговор, расспрашивая о французах»[2].

В своих черновых заметках, так и не увидевших света в полном виде, Ухтомский отмечает настойчиво все громадное пре-

---

[1] Рукописи о Севастопольской обороне, т. II, стр. 30—41.

[2] Воспоминания о Севастополе Евгения Корженевского (Рукописи о Севастопольской обороне, т. III, стр. 33—34).

восходство моряков, воспитанных школой Лазарева, Нахимова, Корнилова, Истомина, над армейскими солдатами, сражавшимися рядом с матросами на севастопольских бастионах.

Героев было много и среди солдат тоже: солдаты тоже умирали бестрепетно и безропотно, не хуже матросов. Но губительная система, которая, начиная с Павла, продолжая Александром и Аракчеевым и кончая Николаем и Михаилом, Сухозанетом и Клейнмихелем, Чернышевым и Долгоруковым, развращала и ослабляла русскую сухопутную армию, — сказывалась к концу николаевского царствования в полной силе, и люди поумнее, вроде того же всех презиравшего и ровно ничего не делавшего старого циника Меншикова, очень хорошо это сознавали.

Вот что писал Ухтомский в своих черновых заметках, конечно, не надеясь, что они когда-нибудь увидят свет: «Солдаты, превращенные в машины, знали только один фронт; князь А. С. Меншиков в своем дневнике незадолго до высадки неприятеля в Крыму писал: «увы, какие генералы и какие штаб-офицеры! Ни малейшего не заметно понятия о военных действиях и расположении войск на местности, об употреблении стрелков и артиллерии. Не дай бог настоящего дела в поле».

Приведя эти слова Меншикова, Ухтомский продолжает: «Сознание, что адский замысел врагов стереть с лица земли Севастополь не только был парализован, но им еще нанесен был жестокий удар посрамления, возбуждало в них (защитниках Севастополя. — Е. Т.) полную самоуверенность в своем превосходстве над пришельцами. Такое убеждение, сложившееся в крещение первого дня жестокого бомбардирования, осталось неизменным до конца осады и создало ту мощную оборону, о которую разбились все усилия врагов...» [1]

Ухтомский приводит убийственные факты в доказательство того, что, во-первых, боевая ценность моряков, пересаженных с кораблей в бастионы, оказывалась выше боевой ценности солдат (хоть они и не уступали морякам в личном бесстрашии) и что чем выше был чин военного начальника в армейских войсках, тем менее, обыкновенно, начальник годился для командования в бою «...фронтовое учение и шагистика совсем убили самостоятельность в русской армии. Во время обороны матросы ни во что ставили солдат. Бывало, сигнальный кричит: «Бомба! Разорвало благополучно, только двух армейских убило!..» На вылазках, где командовали обер-офицеры, можно было всегда рассчитывать на успех, но чуть вылазкой распоряжался штаб-офицер или полковник — верная неудача: такие же были и генералы... Еще к этому надо добавить, что во время командования Менши-

[1] Архив Севастопольского музея обороны, 5120. IV (черновые заметки Ухтомского).

кова, когда можно было многое наладить по укреплению Севастополя, от военного министра Долгорукова не видно было никакого содействия».

Ухтомский не знал, конечно, той переписки между Меншиковым и Долгоруковым, которая хранится в Военно-ученом архиве в московском Лефортове и некоторые выдержки из которой мы только что частично приводили. Но, как мы видим, он совершенно правильно уловил, до какой степени нечего было севастопольцам ждать ни материальной, ни моральной поддержки от высших властей. И меньше всего можно было ждать ее от главнокомандующего армией и флотом князя Меншикова. Меншиков жаловался на своих генералов и сваливал вину за многие свои неудачи на их бездарность и невежество.

«Кто были помощниками мне? Назовите мне хоть одного генерала», — жаловался князь Меншиков в доверительной беседе с полковником Меньковым. — «Князь Петр Дмитриевич (Горчаков, брат преемника Меншикова князя М. Д. Горчакова)? Старый суета в кардинальской шапке? Или всегда пьяный Кирьяков и двусмысленной преданности к России Жабокритский или, наконец, бестолковый Моллер?.. Остальные мало-мальски к чему-либо пригодные, все помешаны на интриге! Полагаю, что, будучи далек от солдата, я не сумел заставить его полюбить себя, думаю, что и в этом «помотли» мне мои помощники!» [1]

Так откровенно разговорился князь Меншиков в первых числах марта 1855 года, только что получив отставку и встретив по пути, в городе Николаеве, полковника генерального штаба Менькова, направлявшегося в Крым.

И дальше пошли жалобы на поляков и немцев с настойчивыми, но не аргументированными обвинениями поляков в измене. «Самое величайшее зло в нашей армии — недостаток генералов, недостаток хорошего оружия, избыток поляков и немцев... Поляки... народ... всегда готовый на измену... Не охотник я и до немцев, но все-таки с ними вернее!..» Словом, ни в чем не виновен и вполне безгрешен только он один, сам князь Александр Сергеевич.

Возмутительнее всего, что он клеветал на своих солдат, обвиняя их иногда в недостатке стойкости.

К русским матросам и солдатам и к тем людям, которые являлись их настоящими вождями в этой кровавой и яростной борьбе, неприятель был гораздо справедливее. Французский главнокомандующий, сам храбрый и стойкий солдат, маршал Канробер до конца жизни в беседах с близкими с восторгом вспоминал о тех, кого так мало ценил русский главнокомандующий Меншиков: «С какими противниками имели мы дело?» Маршал Канробер, — рассказывает его друг, — даже сорок лет спустя при этом вопросе поднимался с кресла и, глядя на вас своими огненными глазами, восклицал: «Чтобы понять, что такое

[1] Рукописное отделение публичной библиотеки, Q. IV. 365/2.

были наши противники, вспомните о шестнадцати тысячах моряков, которые, плача, уничтожали свои суда, с целью загородить проход, и которые заперлись в казематах бастионов со своими пушками, под командой своих адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина! К концу осады от них осталось восемьсот человек, а остальные и все три адмирала погибли у своих пушек...»[1]

Канробер особенно отмечает также и севастопольских рабочих: «Генерал Тотлебен для выполнения своей технической задачи нашел в населении Севастополя, сплошь состоявшем из рабочих или служащих в морском ведомстве и в арсеналах, абсолютную преданность делу. Женщины и дети, как и мужчины, принялись рыть землю днем и ночью, под огнем неприятеля, никогда не уклоняясь. А наряду с этими рабочими и моряками, солдат — особенно пехотинец — снова оказался таким, каким мы его узнали в битвах при Эйлау и под Москвой»[2].

Чтобы найти достойное сравнение, Канробер, знаток военной истории, называет именно эти два кровопролитнейших сражения наполеоновской эпопеи, в которых храбрость и стойкость русской пехоты изумили Наполеона I и его маршалов.

Черствый, раздражительный, знающий свою непопулярность и обожание, которым окружен в матросской и солдатской среде Нахимов, завистливый и насмешливый Меншиков все-таки должен был в первые месяцы осады считаться с тем, что после смерти Корнилова Севастополь дежится, если не говорить о главном, — то есть об упорстве и героизме, проявляемых подавляющим большинством защитников — матросов, солдат и рабочих, — на Тотлебене, Нахимове и Истомине.

Среди бездарных начальников, среди звезд генералитета, прославившихся чем угодно, но только не военными заслугами, эти три человека, дружно и согласно действовавшие, представляли собой могучую силу. Меншиков отлично знал (при его бесспорном уме и огромной опытности он даже не мог не знать), что талантливый, одаренный самостоятельным мышлением человек может при николаевской системе иной раз выйти в генералы, — если ему повезет и если он не попадется в недобрый час на глаза и на замечание у царя, или у великого князя Михаила Павловича, или у Чернышева, или у Василия Долгорукова. Но чтобы человек с такими качествами попал на командующий, в самом деле руководящий пост, — это было в обыкновенное время абсолютно невозможно. Кому же и было это понимать, как не князю Меншикову? Мало ли он сам сбыл с рук таких неудобных адмиралов и генералов! Ему ли было не знать «вырубленный лес», с которым воспевший подвиг русских женщин великий поэт сравнил двор и окружение Николая после 14 декабря 1825 года?

---

[1] Germain Bapst, Le maréchal Canrobert, Souvenirs d'un siècle, II, стр. 374.

[2] Там же, стр. 377.

Но вот в стороне от большого света, где-то на задворках империи, на Черном море, Михаил Петрович Лазарев создал какие-то свои, несколько подозрительные традиции, воспитал этих Корниловых, Нахимовых, Истоминых, как-то вовсе не подходящих ни по росту ни по масти к общеустановленному «нормальному» образцу. И вдруг грянула грозная война, и оказалось, к прискорбию князя Меншикова, что в ненормальные времена общеустановленный нормальный образец никуда не годится. Что же делать? Меншиков, скрепя сердце, и решил использовать этот странный, ни на что не похожий ненормальный выводок лазаревских адмиралов, которые, — как выразился товарищ Пирогова, профессор хирургии, севастополец Гюббенет, говоря о Нахимове, — «не считали достойным хвалить все существующее и скрывать недостатки, а находили пользу в изобличении последних и в неусыпном стремлении к улучшению».

Следует заметить, что Нахимов, вообще, не считал роль флота законченной. В конце ноября 1854 г. союзники к полной для них неожиданности убедились на опыте, что русский флот сохранил способность к самостоятельной инициативе. Вот что читаем в рапорте Нахимова князю Меншикову от 27 ноября (9 декабря) 1854 г.:

«Вследствие разрешения Вашей светлости, сего дня в один час пополудни, я отделил от вверенной мне эскадры пароходы «Владимир» и «Херсонесс», поручив их в ведение командира первого из них капитана 2-го ранга Бутакова, я предписал ему атаковать железный винтовой пароход, стоявший на форватере против Песочной бухты, для наблюдения за движениями наших судов на рейде. Капитан 2-го ранга Бутаков взял на себя атаку этого парохода, предоставив командиру парохода «Херсонесс» капитан-лейтенанту Рудневу наблюдение и действие по Стрелецкой бухте, где в глубине залива стояли на швартовых два неприятельские парохода. Выбежав из-за бонов, «Владимир» полным ходом следовал к своему противнику, на пути приветствовав несколькими меткими выстрелами неприятельский лагерь, расположенный по восточному склону Стрелецкой бухты, и пароходы в ней находившиеся.

Заметив намерение «Владимира», винтовой пароход сделал сигнал флоту и спешил поднять пары; бросив несколько неудачных ядер по «Владимиру», он выпустил цепь, торопясь укрыться под выстрелами кораблей, расположенных у Камышевой бухты. «Владимир» преследовал его за Песочную бухту, действуя по нему двумя носовыми орудиями. Видя безуспешность погони, и уже почти под выстрелами кораблей он положил лево руля и продолжал огонь по бежавшему, всеми орудиями левого борта, до тех пор, покуда выстрелы его были действительны; тогда, поворотив к Стрелецкой бухте, «Владимир» присоединился к «Херсонессу», с живостью бросавшему бомбы по лагерю и пароходам; чтобы не помешать выстрелам «Владимира», идя контр-галсом, «Херсонесс» также поворотил и продолжал действие с правой стороны

так же, как и первый. Быстрый и меткий огонь двух пароходов произвел большое смятение как на берегу, так и в бухте, отчего выстрелы неприятельских пароходов и нескольких полевых орудий, выдвинутых ими к берегу, были недействительны; на одном из первых показавшийся из-под палубы в большом количестве пар дает право заключить, что у него был пробит паровой котел.

Между тем, еще по первому сигналу винтового беглеца, все паровые суда флота, не исключая даже кораблей, задымились; бывшие же незадолго перед тем в движении два английских парохода, а за ними один французский под вице-адмиральским флагом вскоре стали приближаться к нашим пароходам, в то же время пароход, находившийся у р. Качи, для работ у выброшенных судов, снялся с якоря; а потому, чтобы не быть атакованными превосходным неприятелем, пароходы наши начали подвигаться к Севастополю. Передовой английский пароход, приблизясь, открыл огонь; ядра его, ложась между нашими пароходами, не причиняли никакого вреда; «Владимир», следуя в кильватере «Херсонесса», отстреливался из кормовых орудий».

Свое донесение о «вылазке» русских судов Нахимов кончает так: «убитых и раненых на наших пароходах нет; на «Владимире» неприятельское ядро попало в фок-мачту, отбив 1/6 диаметра мачты — причем перебило несколько снастей. Присутствие английской эскадры у Качи, а французской у Камышевой бухты вселило уверенность о безнаказанности позиции винтового парохода в виду нашего разоруженного флота. Молодецкая вылазка наших пароходов напомнила неприятелю, что суда наши, хотя разоружены, но по первому приказу закипят жизнью, что, метко стреляя на бастионах, мы не отвыкли от стрельбы на качке, что, составляя стройные батальоны для защиты Севастополя, мы ждем только случая показать, как твердо помним уроки и покойного адмирала Лазарева»[1].

Меншиков же в декабре 1854 года представил царю доклад о необходимости наградить Нахимова, о котором злобно говорил в своей компании, что ему бы канаты смолить, а не адмиралом быть. Молодой великий князь Константин Николаевич, находившийся тогда в самой весне своего «либерализма», не только исходатайствовал Нахимову орден Белого Орла, но и писал ему в рескрипте 13 января 1855 года: «вменяю себе в удовольствие выразить вам ныне личные чувства мои и флота. Мы уважаем вас за ваше доблестное служение; мы гордимся вами и вашей славой, как украшением нашего флота; мы любим вас, как почтенного товарища, который сдружился с морем и который в моряках видит друзей своих. История флота скажет о ваших подвигах детям нашим, но она скажет также, что моряки-современники вполне ценили и понимали вас».

---

[1] Г. А. Ф. К. Э. Ф. 32, д. 177, рапорт № 587, ноября 27 дня 1854 г. Нахимов — Меншикову.

Но Нахимова награды и приветствия занимали мало. От того самого дня, когда французское ядро убило на Малаховом кургане Корнилова, окружающие Нахимова стали замечать в нем твердое, безмолвное решение, смысл которого был им понятен. С каждым месяцем им становилось все яснее, что этот человек не может и не хочет пережить Севастополь.

Могли ли его, если так, интересовать восторги Константина Николаевича, или фальшивые любезности не терпящего его Меншикова, или даже царские милости?

Нахимов решительно ни с кем уже не церемонился. Вот сцена, обнаружившая, что ни малейших способностей к придворному обхождению этот моряк не имел и не считал нужным ими обзаводиться. Царь, в восхищении от изумительной деятельности и геройской храбрости Нахимова, послал в Севастополь своего флигель-адъютанта Альбединского и поручил ему передать «поцелуй и поклон» Нахимову[1]. Спустя неделю после этого Нахимов, с окровавленным лицом, после обхода батарей возвращался домой — и вдруг ему навстречу новый флигель-адъютант с новым поклоном от императора Николая. «Милостивый государь! — воскликнул Нахимов. — Вы опять с поклоном-с? Благодарю вас покорно-с! Я и от первого поклона был целый день болен-с!» Опешивший флигель-адъютант едва ли сразу пришел в себя и от дальнейших слов Нахимова, давно раздраженного беспорядком во всей организации тыла, от которого зависела участь Севастополя: «Не надобно нам поклонов-с! Попросите нам плеть-с! Плеть пожалуйте, милостивый государь, у нас порядка нет-с!» — кричал Нахимов. «Вы ранены?» — спросил тут кто-то. «Неправда-с! — отвечал Нахимов, но тут, заметив все-таки на своем лице кровь, прибавил: «Слишком мало-с! Слишком мало-с!»

Больше Николай Павлович ни поцелуев, ни поклонов Нахимову уже не посылал.

VII

За Альмой — Инкерман, за Инкерманом — Евпатория. Армия Меншикова вне Севастополя терпела поражение за поражением, несмотря на все упорство и храбрость войск.

А в осажденном Севастополе Нахимов, Тотлебен, Истомин и их матросы и солдаты продолжали изумлять врага своей невероятной, на первый взгляд, и, однако, все крепнущей обороной.

---

[1] Рукописное отделение Публичной библиотеки, о IV. 365/2.

Петербург почти не присылал, несмотря на все мольбы, пороха и сухарей, но снабдил Нахимова новым непосредственным начальством — Остен-Сакеном, а Крымскую армию и Севастополь новым главнокомандующим — князем Михаилом Дмитриевичем Горчаковым, переведенным сюда из Дунайской армии, которой он так неудачно до тех пор командовал.

Некоторые свидетельства (не все) ставят эти два назначения в причинную связь с приездом в Крымскую армию двух великих князей.

Николаю Павловичу показалось почему-то необходимым отправить в Севастополь двух своих младших (и самых бесцветных и малоодаренных) сыновей: Николая и Михаила. Неловким представлялось, что во французской осаждающей армии присутствует двоюродный брат Наполеона III, в английской — родственник королевы герцог Кембриджский, а в русской — никого не было из царствующего дома. Правда, и от наличия этих иностранных августейших родственников ни во французской, ни в английской армии ни малейшей пользы не ощущалось. Но царь ведь этого не знал.

Льстивая статья о великом князе Николае Николаевиче в «Русском биографическом словаре» (СПБ, 1914), полная фантастических утверждений (например, будто поездка его и Михаила Николаевича «вызвала взрыв патриотического восторга»), любопытна только (взятым из ставших доступными этому автору источников) констатированием двух фактов: 1) что благодаря стараниям великих князей начальником Севастопольского гарнизона был назначен барон Остен-Сакен и 2) что Николай Николаевич, по собственной инициативе, написал государю о необходимости заменить князя Меншикова князем Горчаковым, что и было исполнено 16 февраля 1855 года. Автор казенного панегирика, очевидно, считает оба назначения необыкновенно умным и счастливым достижением. Эти великие князья приезжали дважды и путались без малейшего толка под ногами защитников Севастополя: от 23 октября до 3 декабря 1854 года и от 15 января до 21 февраля 1855 года, когда благополучно отбыли снова и уже безвозвратно в Петербург, к большому облегчению Тотлебена и Нахимова.

Вследствие этого назначения (28 ноября 1854 года) Остен-Сакена начальником гарнизона адмирал Нахимов оказался подчиненным Остен-Сакена, что, конечно, не могло не стеснять свободы действий адмирала. Нечего и говорить, что, несомненно, присутствие великих князей, по сути дела, не могло не отнимать у Нахимова немало времени совершенно непроизводительно. Приводя любопытное известие, что неприятельская пуля «ранила флигель-адъютанта Альбединского, за что великие князья получили Георгия», Вера Сергеевна Аксакова прибавляет в своем дневнике: «Да бог с ними, пусть получают и двадцать Георгиев, да только пусть не мешают нашим войскам в

сражениях. Лучше бы, если б они оттуда уехали: конечно, их должны там оберегать и пожертвуют для спасения их тысячами людей!»[1]

Но великие князья в Севастополе были неудобством скоропреходящим. А Остен-Сакен и Горчаков остались надолго и благополучно пережили Нахимова, хотя по возрасту были старше. Но оба они несравненно осторожнее, чем Нахимов, вели себя среди свирепствовавшей в Севастополе «травматической эпидемии», как хирурги уже тогда стали называть войну.

В кровавой и неудачной битве 24 октября 1854 года под Инкерманом, предпринятой Меншиковым с целью отбросить союзников от Сапун-горы, Нахимов не участвовал. Он мог только с полным недоумением и возмущением отнестись к тому, что главная роль в предстоящей битве была дана тому самому присланному из Дунайской армии Данненбергу, которого М. Д. Горчаков постарался сбыть с рук и одарить им Севастополь после того, как Данненберг проиграл на Дунае битву при Ольтенище исключительно вследствие своей растерянности и полной военной бездарности. Любопытно, что и сам Меншиков, очень умный и тонкий человек, оценивал генерала Данненберга вполне точно и считал «несчастием» такое положение, когда бы Данненберг даже временно стал командующим армией[2]. Но, вместо того, чтобы обратно переслать Данненберга Горчакову, поблагодарив князя за любезную присылку, Меншиков вверил этому генералу труднейшую, опаснейшую операцию по нападению на такие позиции, как чуть ли не отвесные и прочно укрепленные союзниками подступы к Сапун-горе. Ничего не было как следует обдумано, местность была не изучена (план этой очень пересеченной местности был получен из штаба на другой день после проигранного сражения!), а сам генерал Данненберг, вопреки своим заявлениям, совершенно не знавший мест, где ему предстояло действовать, проявлял полнейшую беспечность.

Какого мнения был сам Меншиков о способностях и доблестях генерала Данненберга, — мы узнаем еще из следующей фразы, бегло и небрежно брошенной в письме князя Меншикова к князю Горчакову, писанном летом 1853 года, когда ни о каких высадках в Крыму еще и речи не было:

«Очень жалею, любезный князь, что у вас под командой ученик Куруты Данненберг»[3]. Курута был бездарным и алчным фаворитом великого князя Константина Павловича. Тут же, кстати, Меншиков прибавляет и о всем корпусе, в котором под-

---

[1] Дневник В. С. Аксаковой. 5, СПБ., 1913.

[2] Меншиков — Горчакову. Северная, Севастополь. 10 ноября 1854 г. «Русская старина», 1875, т. XII, стр. 313—314 «... тогда начальство должно перейти в руки Данненберга, но это было бы истинное несчастье».

[3] Меншиков — Горчакову. Одесский рейд, 9 июня 1853 г. «Русская старина», 1875, т. XII, стр. 176.

визался Данненберг: «Говорят, будто людей этого 5-го корпуса худо кормят и обкрадывают начальники их».

Все это нисколько не помешало Меншикову в роковой день Инкермана вручить Данненбергу жизнь тысяч солдат и честь русского знамени. Не хотелось ему много ломать себе голову над выбором; да и из кого выбирать? Все они там бездарные, невежественные и тупые, кто-то еще вдобавок ворует. А впрочем, посмотрим, может быть, даже и эти господа что-нибудь путное сделают. Таков был обычный ход мыслей, всегдашнее умонастроение главнокомандующего Крымской армией и флотом, явно сквозящее через все документы и все сказания о нем. «Средства — там, где есть способные к битве войска и генералы, а у меня нет ни тех, ни других», — вот вечный мотив Меншикова[1].

Генерал Данненберг встретился накануне Инкерманского сражения с Нахимовым и сказал адмиралу: «Извините, что я еще не был у вас с визитом». Нахимов ответил: «Помилуйте, ваше превосходительство, вы лучше бы сделали визит Сапун-горе!»[2]

Но этим дело не кончилось. У нас есть свидетельство, что все-таки Данненберг не понял Нахимова, вероятно, приняв его слова за безобидную шутку. Объехав, как всегда, севастопольские бастионы, Нахимов в этот канун рокового Инкермана вернулся к себе, в каюту пришвартованного к берегу корабля. И вдруг ему докладывают о визитере: генерал Данненберг. Тут уж Нахимов решил говорить яснее: «Ваше превосходительство, говорят, что к завтрашнему дню у вас назначено большое сражение?» Данненберг подтвердил. «Как же это вы накануне сражения теряете время на бесполезные визиты? — сказал тогда адмирал своему гостю. — Неужели вам не предстоит никакого распоряжения, не нужно ничего сообразить?»[3]

Нахимов сейчас же повез своего гостя к Истомину, на обстреливаемый как раз очень жестоко Малахов курган, что, повидимому, не предусматривалось вовсе программой визита, потому что Данненберг предпочел там уже не задерживаться и круто сократил посещение.

Вот коротенькая запись об Инкерманском деле очень близко стоявшего к верхам армии человека, видевшего, слышавшего, знавшего очень много. «Князь Меншиков вытребовал к себе генерала Данненберга (с ним он советовался, вместе с ним придумал и вместе с ним исполнил кровавую катастрофу 24 октября). 24 октября кн. Меншиков поручил генералу Данненбергу с 10-й и 11-й пехотными дивизиями атаковать правый фланг позиции, занимаемой англичанами. Для усиления войск, назначенных

---

[1] Меншиков — Горчакову. Северная, 7 декабря 1854 г., «Русская старина», 1875 г., XII, стр. 318.

[2] «Новороссийский телеграф», 1889, № 4365.

[3] «Русский архив», 1891, № 6, стр. 197. Записки князя В. И. Васильчикова.

для атаки, в распоряжение генерала Данненберга были приданы егери из 16-й и 17-й пехотных дивизий».

«Повторилась история Альмы. Никто не знал ни цели атаки, ни порядка, в каком должны были атаковать войска. Колонны путались, артиллерия одной колонны присоединилась к другой. Пехота без артиллерии лихо брала завалы и теряла тысячи, уступая неприятелю в превосходстве. Мы не воспользовались преимуществами ни в полевой артиллерии, ни в кавалерии, которой вовсе не было в деле. Масса артиллерии, столпившись на площадке, теряла лошадей и прислугу... Потеря наша, как говорят, была до 12 тысяч... Грустно! Из строя выбыли почти все полковые, батальонные командиры и старшие офицеры. И все это без всякого результата». Во время боя ни Данненберг ничем сколько-нибудь толково не распоряжался, ни Меншиков ничего не делал. «Я не тактик, не мое дело вести в бой. Генералов нет! — повторял в этот день Меншиков [1]. «Князь Александр Сергеевич забыл, что он не тактик, но русский главнокомандующий» — с негодованием замечает участник дела. У союзников потеря убитыми и ранеными в этот день была равна 4.338 человек. Русские потери по официальному подсчету простирались до 11.950 человек.

Русские войска сражались в день Инкермана превосходно, несмотря на безобразные, хаотические, путаные распоряжения начальства; последнее только и спасло союзников от разгрома, по утверждению самих же французских и английских генералов. Вот точные слова французского генерала Мортанпрэ, начальника штаба французской армии, и полковника Вобер-де-Жанлис, первого адъютанта Канробера, а потом адъютанта Пелисье:

«... главное дело на Инкермане было бы вами (русскими) выиграно, английская армия была уже на волоске, едва держалась, несмотря на то, что ваши войска медленно шли вперед и пропустили первый момент. День этот все-таки кончился бы совершенным поражением англичан, следствием которого было бы снятие осады». Так, Данненберг с Меншиковым спасли в этот день союзников. «Мы избежали тогда великой катастрофы», — говорили Мортанпрэ и Вобер-де-Жанлис, вспоминая об Инкермане, в начале 1856 года [2].

После Инкермана всякое доверие к высшему командованию исчезло бы в Севастополе, если бы оно было в наличности раньше.

«Все очень хорошо, все идет порядочно, только пороху не бог весть сколько и князь Меншиков изменник», — пишет саркастически и с раздражением полковник Виктор Васильчиков своему другу. Но и он, скептик и желчный наблюдатель, не

---

[1] Рукописное отделение Публичной библиотеки, Q. IV, 365/2.

[2] В. — м. архив. Ф. Меншикова, папка 35, «Записки полковника Циммермана о слышанном от союзников» и т. д.

может нахвалиться солдатами и офицерами, и прежде всего — героем Нахимовым, которого матросы, обожавшие своего адмирала, уже успели переименовать и называли за его совсем отчаянную храбрость «Нахименкой-бесшабашным», чтобы больше походило на матросскую фамилию [1]. Им хотелось, чтобы он был уже совсем их собственный.

«Нахименко-бесшабашный» проделывал такие вещи, что просто заражал своим настроением и офицеров, особенно молодых прапорщиков, и солдат, и матросов. Прапорщик Демидов с отрядом штуцерников поместился в дальнем завале, прямо против англичан. «Чтобы придать своим солдатам куражу и доказать им, что англичане штуцерные дурно стреляют, он вышел из завала и прошел мимо всех неприятельских траншей с левого на правый фланг». Затем он сделал себе папироску, стал ее курить, — потом пошел назад под прикрытие завала. Но солдаты даже и не нуждались в таких примерах. Не сговариваясь и не размышляя, «часто целые партии предпочитали мучительную смерть — плену».

Нужно заметить, что Нахимов, сам беспечно подставляя свою голову при всяком удобном случае, категорически воспрещал своим подчиненным какое бы то ни было бесполезное молодечество. У нас есть несколько тому свидетельств.

Наиболее дельными и нужными людьми оказались, как и следовало ожидать, именно те морские и армейские офицеры, которые протестовали против хвастовства и самохвальства. «А знаете, кто у нас из инженеров заслужил всеобщее уважение? Ватовский, тот, который всегда кричал против войны и говорил, что шапками не закидаешь неприятеля и что долго с ним повозишься. Он распорядителен и храбр. Когда уже Нахимов сказал ему в первый день бомбардирования: господин офицер, я вас должен буду отправить на гауптвахту, мы нуждаемся в инженерных офицерах, зачем же вы под ядрами стоите и сами пушку наводите?» [2]

VIII

Моряки, распределенные Нахимовым по бастионам, играли очень существенную, часто ведущую роль при постоянных вылазках, которыми гарнизон по ночам постоянно тревожил неприятеля.

Вылазки продолжались всю осень и зиму 1854—55 гг. «Мы продолжаем делать ночные вылазки, которые, вообще,

---

[1] Васильчиков — Менькову. Севастополь, 14 декабря (1854). Рукописное отделение Публичной библиотеки, Q. IV. 365 (2)

[2] Архивохранилище Института истории Академии Наук. Письма И. М. Дебу, № 45. 16 марта 1855 г.

удаются. Одна только вылазка, произведенная Тобольским полком, вследствие данного ей Баумгартеном направления вышла неудачна», писал 3 января 1855 г. князь Меншиков Горчакову.

Но он совершенно неосновательно, замечу кстати, обвинил Баумгартена (героя битвы при Четати). Из своего прекрасного далека, т. е. из Бельбекского лагеря, Меншиков не весьма хорошо уяснял себе, что такое вообще эти ночные вылазки и как они производятся. После его смерти его письмо к Горчакову попало в печать, и вот что написал по этому поводу облыжно обвиненный генерал Баумгартен: «Вылазки из Севастополя делались с целью тревожить неприятеля и заставить его в ненастное и холодное время держать как можно более войск наготове в траншеях, дабы таким образом изнурять неприятельские войска, а когда удастся застать его врасплох, то и наносить им поражение. Для производства подобных вылазок назначались обычно от 2 до 3 рот и редко более одного батальона. А потому никакого особого направления не приходилось, да и нельзя было давать этим отрядам: они просто и прямо шли к неприятельским траншеям, *а для указания пути и выходов из наших укреплений назначались обыкновенно моряки.* Успех вылазок зависел поэтому вовсе не от их направления, а от быстроты и внезапности нападения и, главное, от степени бдительности противника. Вот почему почти все вылазки, произведенные с 3-го бастиона против англичан, стоявших сплошно, были удачны и обходились без значительной для нас потери, тогда как вылазки, направленные против французов, соблюдавших несравненно более осторожности, были менее удачны и стоили нам дороже. Из сказанного видно, что я лично не давал и не мог давать направления ротам Тобольского полка»[1].

Самое любопытное тут еще и то, что Меншиков не только совершенно голословно обвинил Баумгартена в неудаче вылазки, — но выдумал самую «неудачу»! Вот что пишет как раз об этой самой вылазке Тотлебен, бывший на месте, т. е. в Севастополе, на русской оборонительной линии: «Несмотря на ружейный огонь, тобольцы вскочили в траншеи и вступили с неприятелем в рукопашный бой, но заметив прибывающие к неприятелю резервы, отступили на бастион с потерей 7 убитых, 9 раненых и 6 контуженных».

Эти постоянные вылазки, где матросы Кошка и другие легендарные храбрецы были не исключением, а правилом, это ни на день не покидающее моряков и армейских одушевление — необычайно подбодряли и помогали переносить все тяготы этой трудной зимы. Союзники страшились этих внезапных нападений, — и имели полное основание страшиться: «Из землянок их вытаскивают арканами, три офицера английских были при этом случае задушены. С нашей стороны убито два офицера, 8 ниж-

[1] А. Баумгартен, Заметка к письмам кн. А. С. Меншикова. «Русск. старина», 1875, XIII, 139—140.

них чинов и 30 человек солдат ранено. Тобольский полк до того отважен, что сам Меншиков назвал их чертями, а не людьми. Пленные же говорят, что в этой вылазке было не пять рот, а три тысячи человек. Так их тобольцы отуманили. Дезертиров англичан и арабов очень много. Недавно вся передняя цепь около Черной речки с офицером передалась нам. Голод их притиснул на порядках. Говорили, что у них есть железная дорога от Балаклавы до Севастополя — это вздор. Они уже не думают о нападении, а укрепляются для обороны около Балаклавы. Севастополь так укреплен, что и подумать о штурме было бы дерзостью. Все улицы перерезаны баррикадами, из которых каждая вооружена двумя чугунными пушками. Поэтому можете судить, что в Севастополе нет никакой опасности»[1]. Конечно такой оптимизм был неоснователен, предстояла еще долгая борьба и не мало молодых, рвавшихся в бой защитников Севастополя, вроде писавшего приведенные строки офицера, сложили свои головы в ближайшие месяцы.

IX

Непосредственным начальником Севастопольского гарнизона, как сказано, с 28 ноября 1854 года состоял Остен-Сакен, а Нахимов долго был лишь его «помощником» и должен был с ним очень считаться.

Вот показание одного из защитников Севастополя об Остен-Сакене. Оно дает довольно отчетливое представление об этом человеке, в руках которого, кстати будь сказано, была и верховная военная власть над Севастополем от момента отъезда Меншикова, то есть от 16 февраля до 10 марта 1855 года, до приезда Горчакова[2]. «Не давай Сакен рецептов в полки и на бастионы, как делать шипучий квас, и не снабжай всех «верными» средствами противу холеры, никто и не подозревал бы его существования в Севастополе. Он жил в четырех стенах прекрасной квартиры в Ник (олаевской) батарее, своды над которой ежедневно посыпали песком страха ради перед бомбами, на бастионы показывался не более четырех раз во все время и то в менее опасные места, а внутренняя его жизнь заключалась в чтении акафистов, в слушании обеден и в беседах с попами»[3].

Вот кому должны были повиноваться и Нахимов, и Тотлебен,

---

[1] Музей Севастопольской обороны. 5129. VI — Бумаги Шегловых. Отрывок письма Д. Шеглова, без даты.

[2] Эту точную дату дает полковник Меньков. Рукописное отделение Публичной библиотеки, а. IV, 385/2.

[3] Одесский исторический архив, 1138, архив № 23, Зеленого, «Заметки Милошевича о Крымской кампании». Списано рукой неизвестного. Рукопись на листах 18—48. Приложения к этой рукописи на листах 46, 47 и 48.

и Александр Хрущов, и Степан Хрулев (которому завидовал и которого ненавидел Остен-Сакен), и адмирал Истомин, который с таким гневом говорил о верховном «руководстве» обороной. Матросы и солдаты мало знали и не любили Меншикова, еще меньше знали и тоже не любили Горчакова, Остен-Сакена они не могли ни любить, ни ненавидеть: они просто не имели никакого точного представления о самом факте его бытия на свете.

«Все понимают, что можно молиться богу, но тем не менее должно исполнять и другие обязанности — служебные, например», — говорит ежедневно наблюдавший Остен-Сакена полковник Меньков. А именно служебных-то обязанностей набожный Дмитрий Ерофеевич и не исполнял, ничего в войне не понимал, останавливался «на тех мелочах и вздорах, которые никогда и в голову не придут человеку, истинно занятому делом»[1].

«Не крепок стал Ерофеич, выдохся!» — говорил о нем князь Меншиков, который был неутомим в вышучивании своих генералов.

За два дня до своей смерти Николай I, наконец, сменил Меншикова и назначил главнокомандующим князя М. Д. Горчакова, а вплоть до приезда Горчакова, Остен-Сакен был вершителем судеб. Да и потом продолжал влиять на дела.

«Сакен оказался дрянь. О Горчакове в Севастополе еще ничего нельзя сказать, но Хлебников, бывший при нем два года, не слишком хвалит его. Говорит, что, может быть, мы Меншикова пожалеем»[2] — таково было мнение, широко распространенное об Остен-Сакене в офицерской массе.

И в качестве помощника начальника Севастопольского гарнизона Остен-Сакена и затем, со 2 марта 1855 года, в качестве начальника порта и военного губернатора Нахимов и днем и ночью мелькал на бастионах именно в самых опасных, самых слабых пунктах, распоряжаясь всегда умно, всегда с глубоким знанием дела, отдавая приказы, контролируя лично их исполнение. И в местное свое начальство, и в петербургское он совсем не верил. «Переписки он терпеть не мог, а запросов министерства просто боялся. В это время Павла Степановича можно было назвать душой обороны — он постоянно объезжал бастионы, справлялся, кому что надо, кому снаряды, кому артиллерийскую прислугу и прочее. И постоянно надо было торопиться, чтобы за ночь исправить то, что разрушил неприятель»[3]. Ночевал он где придется, спал не раздеваясь, потому что собственную свою квартиру он отвел под лазарет для раненых, а «личные деньги адмирала шли на помощь отъезжающим семействам моряков».

---

[1] Рукописное отделение Публичной библиотеки. Q IV 365/2.

[2] Архивохранилище Института истории Академии Наук. Письмо И. М. Дебу. № 45, 16 марта 1855 г.

[3] Архив Севастопольского музея обороны. 5077, VII. Воспоминания Ухтомского (подлинная рукопись).

Для матросов и солдат было большой нравственной опорой и радостью каждое появление Нахимова на их бастионе.

Техническая оснащенность у неприятеля значительно превосходила нашу, — и это сказывалось на каждом шагу, и с этим ничего поделать было нельзя.

Нахимов доносил Меншикову 16 февраля 1855 года: «В последние дни, после заката солнца, когда в Севастополе наступает совершенная тишина в воздухе, из траншей, раскинутых за бастионом Корнилова, неприятель бросает к нам конгревовы ракеты, вчера он выпустил до 60 и, как казалось, с трех станков... Донося о сем вашей светлости, имею честь присовокупить, что ракеты, бросаемые неприятелем, преимущественно разрывные, с сильным зажигательным составом, а дальность полета простирается до двух тысяч сажен. Одна из этих ракет, пролетев пять верст, упала в Северную сторону и врылась в землю на $3^1/_2$ фута».[1] По другому официальному свидетельству (Константинова, состоявшего при штабе Горчакова) «ракеты, пускаемые неприятелем в Севастополь, представляют изумительную силу действия: с пятиверстного расстояния всякий раз попадают почти в одно и то же место близко желанной цели»[2].

По французским данным, эти ракеты били дальше: на 7 километров. А у нас «наибольшие дальности мортир сухопутной артиллерии при полных зарядах составляли от 997 до 1085 сажен, т. е. немногим более двух верст...»[3]

«Нахимов на военных советах настойчиво высказывался о необходимости вести оборону, пока не перебьют всех моряков, в то время, как Горчаков, старик, выживший из ума, чуждый флота, только чиновник, вступив в управление армией и видя большую потерю людей в Севастополе, задался целью на свой страх бросить Севастополь. Отсюда трагизм осажденных», — пишет в своих проникнутых горечью черновых заметках участник обороны Ухтомский. Истомин был вне себя от гнева, испытывая постоянные отказы и задержки, когда требовал средств на оборону. Но беспокойные люди, вроде Истомина или Нахимова, скоро умолкали, так как долго на свете не заживались, в прямую противоположность хотя бы тому же Д. Е. Остен-Сакену, который родился в год начала французской революции — 1789 г., прослужил на военной службе сряду семьдесят шесть лет, сподобился умереть в 1881 году, девяноста двух лет отроду, и ни разу не был ни ранен, ни даже контужен, — так как смолоду «умел беречь себя для отечества» (по глубокомысленной догадке пораженного этим отрадным фактом автора одной некрологической заметки о Дмитрии Ерофеевиче).

В этом отношении Остен-Сакенам и Меншиковым, вообще, везло, а Нахимовым нисколько не везло. Впоследствии, отмечу кстати, льстец и карьерист Комовский делавший карьеру при

---

[1] «Артиллерийский журнал», № 1857, II, стр. 180—181.

[2] Там же, 183

[3] Там же, 184.

Меншикове и очень хорошо знавший, как относился Нахимов к князю и его клевретам, не мог скрыть своей радости по поводу гибели Нахимова. Комовский, сообщая о смертельной ране Нахимова, делится с Меншиковым одним своим счастливым мистико-религиозным открытием: оказывается, само небо аккуратно убирает прочь тех адмиралов, которые непочтительно относятся к князю Александру Сергеевичу! «Странное дело: очереди его (Нахимова), я ждал, хотя поистине считал большой утратой его потерю... Но ожидал потому, что по наблюдению заметил, что все пессимисты и порицатели вашей светлости как-то не сберегались судьбой»[1]. Вот почему после Истомина Комовский и стал поджидать гибели Нахимова. Он мог бы привести еще и Корнилова для полноты доказательств в пользу своего интересного открытия, не говоря уже о десятках тысяч погибших в Севастополе матросов и солдат, тоже порицавших «его светлость».

2 марта 1855 года Нахимов, бывший до сих пор помощником начальника гарнизона, был назначен командиром севастопольского порта и военным губернатором города Севастополя, а через пять дней его и защищаемый им город постиг тяжкий удар: 7 марта, когда начальник Корниловского бастиона на Малаховом кургане адмирал Владимир Иванович Истомин шел от Камчатского люнета к себе на Малахов курган, у него ядром оторвало голову.

Смерть Истомина была тяжким ударом для обороны Севастополя, — и Нахимов, снова вторя своей тайной мысли, которая, впрочем, для окружавших его уже переставала быть тайной, говорил о могиле, которую «берег для себя», но уступает теперь Истомину. Он не желал пережить Севастополь и не верил, что Севастополь устоит. И место возле Лазарева и Корнилова было единственной «собственностью», которой он дорожил. Вот письмо, которым он извещал Константина Истомина о смерти его брата:

«Общий наш друг Владимир Иванович убит неприятельским ядром. Вы знали наши дружеские с ним отношения, и потому я не стану говорить о своих чувствах, о своей глубокой скорби при вести о его смерти. Спешу Вам только передать об общем участии, которое возбудила во всех потеря товарища и начальника, всеми любимого. Оборона Севастополя потеряла в нем одного из своих главных деятелей, воодушевленного постоянно благородною энергиею и геройской решительностью: даже враги наши удивляются грозным сооружениям Корнилова бастиона и всей четвертой дистанции, на которую был избран покойный, как на пост, самый важный и вместе самый слабый.

По единодушному желанию всех нас, бывших его сослуживцев, мы погребли тело его в почетной и священной могиле для

---

[1] Военно-морской архив, фонд Меншикова, папка 100, С.-Петербург, 3 июля 1855 г.

черноморских моряков, в том склепе, где лежит прах незабвенного адмирала Михаила Петровича (Лазарева) и первая, вместе высокая жертва защиты Севастополя — покойный Владимир Алексеевич (Корнилов). Я берег это место для себя, но решил уступить ему.

Извещая Вас, любезный друг, об этом горестном для всех нас событии, я надеюсь, что для Вас будет отрадной мыслью знать наше участие и любовь к покойному Владимиру Ивановичу, который жил и умер завидною смертию героя. Три праха в склепе Владимирского собора будут служить святынею для всех настоящих и будущих моряков Черноморского флота. Посылаю Вам кусок георгиевской ленты, бывшей на шее у покойного в день его смерти: самый же крест разбит на мелкие части. Подробный отчет о его деньгах и вещах я не замедлю переслать к Вам»[1].

«Четверка», которая в первое же бомбардирование 5 октября 1854 года превратилась в тройку, теперь уменьшилась еще на одну единицу. За Корниловым — пал теперь Истомин. И так же, как никто со стороны не заменил Корнилова, так не оказалось равноценной замены и Истомину; Нахимову и Тотлебену только пришлось взять на себя еще одну добавочную нагрузку.

Хрулев, Хрущов, Васильчиков, — а главное, самое важное, матросы, солдаты, землекопы — рабочие в своей массе, — вот на кого, как и прежде, возлагали свои надежды Нахимов и Тотлебен. Надежды на что? Нахимов надеялся, главным образом, только на максимальное продление обороны и на свою смерть под развалинами Севастополя, хоть и подбадривал своих моряков и искусно скрывал от них свои мрачные мысли. На таланты же нового главнокомандующего, князя Горчакова, ни он, ни Тотлебен никаких упований не возлагали.

Вот что говорил о князе Михаиле Дмитриевиче умный, дельный и очень наблюдательный Николай Васильевич Берг, близко присматривавшийся к нему и в Севастополе и, позднее, в Польше: «Горчаков питал слабость к аристократам всех наций потому, что сам был аристократ, потому, что с самых ранних лет наслушался от отца и матери, от всех тетушек, дядюшек, бабушек и дедушек, что аристократы — особые люди земного шара, белая кость, создаются из другого, лучшего и благороднейшего материала, чем плебеи. А плебеи это как бы даже и не люди, а что-то низшее в иерархии животных, род орангутангов или шимпанзе»[2].

Другие отзывы были еще выразительнее.

... «Ветхий, рассеянный, путающийся в словах и в мыслях старец, носивший это громкое название, был менее всего похож на главнокомандующего. Зрение его было тогда до такой степени слабо, что он не узнавал третьего от себя лица за обедом...

---

[1] Архив Севастопольского музея обороны, 5080, VII.

[2] Н. В. Берг. К биографии графа Замойского, 103, Ист. Вестн., том III.

Слух, или точнее сказать, весь организм... был сильно временами расстроен»... Хуже всего было то, что он в самом деле не умел говорить по-русски так, чтобы его можно было понять: «случалось, что казак, не расслышав хорошо, что пробормотал ему своим невыразительным языком главнокомандующий и не смея переспрашивать, приводил его вовсе не туда, куда было приказано, а к кому-нибудь другому... Точно так же носило его иногда по севастопольским батареям, бог ведает зачем: кого он там одушевлял, этот непопулярный, никому из солдат и матросов неизвестный генерал?.. А уезжая, он мурлыкал обыкновенно про себя какую-нибудь французскую песню. Чаще всего слыхали: je suis soldat français (я — французский солдат)». Немудрено, что в Севастополе очень скоро стали говорить: а все-таки у нас нет главнокомандующего!»[1]

«Могла ли армия относиться надлежащим образом к начальнику, над которым все поминутно смеялись?» вопрошает очевидец[2].

Горчаков знал, как не терпели солдаты и матросы его предшественника, и ему хотелось быть приветливее, ободрять людей на бастионах и в поле. Но он не знал, как это делается. И как превозмочь одну досадную при этом трудность?

Дело в том, что по-французски князь Горчаков объяснялся ничуть не хуже, например, маршала Пелисье или Наполеона III, но уж зато, вот, как раз именно русский язык ему не вполне давался, хоть брось, — несмотря на искреннее и давнишнее желание князя Михаила Дмитриевича одолеть это, правда, несколько трудное, но безусловно полезное для русского главнокомандующего наречие. «Я спросил, на каком языке кн. Горчаков говорил свои нежные приветствия (войскам), ибо на природном даже не каждый его понимает», — так отозвался старый Ермолов, когда при нем заметили, что Горчаков более приветлив с войсками, чем Меншиков[3].

Главнокомандующий князь Горчаков почти вовсе не появлялся на бастионах, а когда и бывал, то, «проходя быстро, благодарил солдат, но говорил при этом так тихо, что не был расслышан», и солдаты, повидимому, недоумевали, кто это такой и что ему от них угодно. Да и вообще вел себя в эти неприятные и редчайшие для него секунды больше как любознательный путешественник. «На исходящем углу бастиона Горчаков посмотрел чрез амбразуру и спросил меня: «Что это за мешки впереди бастиона?» — «Французские окопы». — «Так близко?» — «Около тридцати шагов от траншей за воронками». Повидимому, этим ответом любопытство князя Горчакова было настолько полно удовлетворено, что он отбыл без дальнейшей потери времени и

[1] «Князь М. Д. Горчаков в 1855—61 г. г.», «Русская Старина», 1880, том XXIX, стр. 120—121.

[2] Там же, 121.

[3] Военно морской архив, фонд Меншикова, папка 88. Москва, 12 декабря 1855 г.

на этом бастионе больше уже и не удосужился побывать. Но зато «вечером прибыл адмирал Нахимов, мы беззаботно прохаживались с ним по батарее под градом пуль и бомб, — последних одних насчитали около двухсот»[1].

Правда, «вещи познаются путем сравнения» и на взгляд многих Горчаков производил все же лучшее впечатление, чем его предшественник. Так судил о нем Пирогов.

«Горчаков скуп, как старая мумия Меншиков, но не такой резкий и мрачный эгоист, как тот... Бывало, Меншиков сидел скрытный, молчаливый, таинственный как могила, наблюдал только погоду и в течение полугода искал спасения для русской армии только в стихиях; холодный и немилосердный к страждущим, он только насмешливо улыбался, если ему жаловались на их нужды и лишения, и отвечал, что прежде еще хуже бывало», — так писал Пирогов доктору Зейдлицу, с которым был откровенен. Это большое письмо помечено тремя днями: 16, 17 и 19 марта 1855 г.[2] Это показание очень характерно. В своих записках и в письмах к другим лицам великий хирург не был, обыкновенно, так откровенен.

Говоря о Пирогове, нельзя не упомянуть о самоотверженных женщинах, помогавших ему в Севастополе. Как высоко ценили Пирогова и сестер милосердия Нахимов и его матросы и солдаты, которых он так часто навещал в лазаретах!

Сестры милосердия, организованные и присланные Еленой Павловной, работали усердно и самоотверженно. Но что они могли поделать, и что мог существенно изменить их шеф Пирогов, когда суммы, отпущенные на госпитали, невозбранно разворовывались и интендантами и заправилами медицинской части, и большими хозяйственниками — генералами, и скромными смотрителями госпиталей? Вот что писали очевидцы: «Если великая княгиня пришлет спросить, то скажи, что ее сестры до сих пор оказались так ревностны, как только можно требовать, день и ночь в госпитале. Двое занемогли, они поставили госпитали вверх дном, заботятся о пище, питье просто чудо, раздают чай, вино, которое я им дал, если так пойдет, если их ревность не остынет, то наши госпитали будут похожи на дело. Несмотря на все это, худое начало не исправляется легко. В Симферополе лежат еще больные в непокое: соломы для тюфяков нет и старая полусгнившая солома слегка потом высушивается и снова употребляется для тюфяков, соломы здесь уже совсем нет, (в Севастополе) пуд сена стоит 1 руб. 75 коп. сер. В открытых телегах, без тулупов, везут больных в течение 7 дней из Симферополя в Перекоп, они остаются без ночлега, на чистом поле, или в нетопленных татарских избах, остаются иногда дня по 3 без еды и привара, а если будет еще новое дело, то бог знает, что сделается с ранеными... ...Корпии и перевязочных

---

[1] Рукописи о Севастопольской обороне, т. III, стр. 394—395.

[2] «Севастополь 16, 17, и 19 марта 1855 г.» («Русск. старина», том LVII, 299)

средств никогда не будет довольно для раненых. Бинты едва моются и мокрые накладываются и так, чем больше, тем лучше»[1]. Меншиков знал, как чудовищно почти все вокруг него обворовывают не только госпитали, но и казну вообще, не только раненых, но и здоровых, и просто терялся, сознавая свою полную беспомощность. Когда Горчаков из Южной армии согласился послать Меншикову интенданта, о котором носился изумительнейший слух, что он не ворует, то князь Александр Сергеевич просто был вне себя от счастья и вот в каких абсолютно ему несвойственных выражениях этот гордый и небрежно и высокомерно ко всем относившийся вельможа благодарил М. Д. Горчакова: «Я бросаюсь к ногам вашим, дорогой и превосходный друг, за посылку вашего главного интенданта, которого я жду как Мессию!»[2]. Нечего и прибавлять, что прибытие интендантского Мессии не внесло уследимых перемен ни в дело снабжения Крымской армии, ни в быт госпиталей.

В своих эпически-спокойных, ни в малейшей степени не обличительных по тону и по замыслу записках проделавший всю кампанию доктор Генрици между прочим рассказывает, как складывался «быт» лазаретов вне Севастополя. В конце апреля 1855 г. Генрици был назначен дивизионным врачом в 17-ю дивизию. Он нашел две тысячи раненых, лежавших либо на соломе, либо на солдатских вещах. Все эти две тысячи больных людей «могли рассчитывать на помощь от одного доктора Смирнова, жившего в конюшне на антресолях, с которых нелегко было слезать, а еще труднее было на них взбираться». У этого единственного доктора в распоряжении был единственный инструмент: «изломанный ланцет, но и тот составлял собственность одного фельдшера». «О продовольственной части не стоит много говорить», лаконично добавляет Генрици[3].

Доктора, фельдшера, сестры милосердия работали, в большинстве, с упорством и самоотвержением и гибли от болезней и бомб и в Севастополе и вне его. Вот одна из обыденных зарисовок:

Умелая и опытная сестра милосердия Крестовоздвиженской общины показывала своей молодой сотруднице из вновь прибывших практические приемы перевязки. Внимательно слушала молодая женщина делаемые ей указания, с благодарностью глядел на них раненый солдат, страдания которого были облегчены ловко сделанной перевязкой. Его нога находилась еще в руках сестры, но раздался зловещий крик: бомбы! и не успели присутствовавшие оглянуться, как она упала посреди них, и от обеих сестер и от раненого солдата остались разорванные на клочья трупы»[4]. Так сложился быт медицинского персонала в по-

---

[1] Г. А. Ф. К. Э. Ф. 32, д. 176, Севастополь, 18 декабря 1854 г.

[2] Военно-учен. архив. № 5451. Северная, le 22 décembre 1854. Prince Menchikoff au prince Gortschakoff.

[3] Записки доктора А. Генрици 92—93. «Русск. старина», 1878, XXI.

[4] Из воспоминаний А. Н. Супонева, 259, Русск. Архив, 1893, III.

следние месяцы осады, когда буквально ни одного места, сколько-нибудь безопасного, во всем Севастополе уже не оставалось.

Но и медицинский персонал, как и весь гарнизон, старался «равняться по Павлу Степановичу», как принято было выражаться в осажденном городе.

Этот страшный четвертый бастион, центр второго отделения оборонительной линии города Севастополя, был для Нахимова местом почти ежедневной «прогулки», и обреченные на почти неизбежную гибель солдаты и матросы-артиллеристы сияли, когда видели своего любимца, и не только потому, что «через него все требования удовлетворялись без всякого промедления», как свидетельствует командир четвертого бастиона, но прежде всего потому, что их просто как бы гипнотизировала та невероятная беспечность, полнейшая беззаботность, самое вызывающее презрение к смертельной опасности, которые Нахимов всегда выказывал на глазах у всех. Он не позволял солдатам и матросам показываться из блиндажей, а сам гулял на ничем не прикрытом месте, — и это на том бастионе, который находился в нескольких десятках саженей от французских стрелков, бивших ядрами, бомбами, штуцерными пулями по этому укреплению.

27 марта 1855 года Нахимов был произведен в полные адмиралы. В своем приказе по Севастопольскому порту от 12 апреля Нахимов писал: «Матросы! Мне ли говорить вам о ваших подвигах на защиту родного нам Севастополя и флота? Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию. Мы сдружились давно, я горжусь вами с детства...»

Нахимова любили все, даже те, на которых он часто кричал и топал ногами за лень, или за оплошность, или за нерадение, или за опоздание. Но даже очень любившие его иногда укоряли адмирала в том, что он не умел в полной мере воспользоваться колоссальным авторитетом, который он приобрел. С гневом и презрением наблюдал он за гнуснейшим, необъятным воровством интендантов и провиантмейстеров, — но был бессилен заставить Меншикова, а потом лично честных Горчакова, Семякина, Остен-Сакена, Коцебу круто и беспощадно распорядиться хоть с кем-нибудь из этих воров, подтачивавших оборону Севастополя в помощь французским и английским бомбам. Точно так же он делал все возможное и невозможное, чтобы поправить ошибки бездарного начальства, но оказывался не в силах воспрепятствовать этим ошибкам. Он умно и глубоко продуманно организовал систематическую защиту Камчатского люнета и лично, как увидим, чуть не погиб 26 мая 1855 года при падении этого люнета, — но он не мог заставить верховное командование отказаться от самой мысли о сооружении, например, некоторых ложементов перед первым редутом. Генерал Александр Петрович Хрущов, которому было велено защищать эти ложементы, знал, что ему дают приказ, который кончится гибелью массы людей и безусловной и

скорой потерей ложементов[1]. Он выполнил приказ, не скрыв от передававшего этот приказ Остен-Сакена, что крайне трудно будет отстоять эти ложементы.

После кровавой борьбы и тяжких русских потерь, конечно, эти новые, наиболее близкие неприятелю ложементы, просуществовавшие в законченном виде девять дней, были в ночь на 20 апреля взяты французами. Хрущов не посмел настоять на своем — удержать Горчакова и Остен-Сакена. А мог ли сделать это несравненно более авторитетный, увенчанный громкой славой Нахимов, который был для гарнизона, по всем показаниям, «царь и бог?». Одни севастопольцы думали, что в подобных случаях мог: другие, что не мог и что его бы все равно не послушали, несмотря на его могучий моральный и военный авторитет.

«Значение этого лица в Севастопольской обороне было первостепенное. Нахимов... был одним из тех умов, которые понимают медленно, но, поняв, охватывают предмет со всех сторон, проникают его до малейших подробностей и усваивают в совершенстве... При своей простоте и открытости он был честен, бескорыстен, деятелен и имел самое неограниченное влияние на матросов». Он был душой обороны, «могучей физической силой обороны, которой мог двигать по произволу и которая в его руках могла творить чудеса». Нахимов распоряжался, как никто. «По званию главы Черноморского флота он был истинный хозяин Севастополя. Постоянно на укреплениях, вникая во все подробности их нужд и недостатков, он всегда устранял последние, а своим прямодушным вмешательством в ссоры генералов он настойчиво прекращал их», — так пишет о Нахимове человек, который явно не предназначал свою рукопись к печати, потому что он тут же называет главнокомандующего Меншикова придворным шутом, а Николая Павловича — «восточным падишахом», который «покоился в сладкой уверенности своего всемогущества». Желчный, раздражительный, никому не верящий автор правдиво оценивал Нахимова и его историческую роль[2]. Но он совсем неосновательно приписывает «медленность» понимания Нахимову: напротив, работа его мысли была необычайно быстра.

«То была колоссальная личность, гордость Черноморского флота!» — говорит о Нахимове наблюдавший его ежедневно в последние месяцы его жизни полковник Меньков. — «Необыкновенное самоотвержение, непонятное презрение к опасности, постоянная деятельность и готовность выше сил сделать все для спасения родного Севастополя и флота были отличительные черты Павла Степановича!.. Упрямый, как большая часть моря-

---

[1] Тотлебен говорит, что эти контрапроши можно было бы удержать, если бы на русскую вылазку было дано 20 апреля шесть батальонов, как это и предполагалось. — «Но главнокомандующий изменил это распоряжение, и вместо шести батальонов было дано втрое меньше! «Описание обороны Севастополя», том II, часть I, стр. 181 и след.

[2] Одесский исторический архив, 1138, архив № 23, Зеленого. Заметки Милошевича о Крымской кампании. Списано рукой неизвестного. Рукопись на листах 18—46.

ков во всех вопросах, где море и суша сходились на одних интересах, случись это хоть на Малаховом кургане. Павел Степанович всегда брал сторону «своих». При том обожании, каким его всегда окружали матросы, он знал, чем их наказывать: «Одно его слово, сердитый, недовольный взгляд были выше всех строгостей для морской вольницы». И Меньков тоже настаивает, как и все источники, на том поведении Нахимова, которое особенно стало бросаться в глаза в последние месяцы его существования: «Начнут ли где стрелять сильнее обыкновенного, Павел Степанович тотчас настороже, смотришь, на коне и мчится к опасному месту. Раз встретил его барон Остен-Сакен и начал говорить: «Не бережете вы себя, Павел Степанович, жизнь ваша нужна России...» Павел Степанович внимательно слушал, махнул рукой да в ответ ему: «Эх, ваше сиятельство, не то говорите вы! Севастополь беречь следует, а убьют меня или вас — беда не велика-с! Вот беда, как убьют князя Васильчикова или Тотлебена Вот это беда-с!»[1] Это Нахимов говорил о начальнике штаба гарнизона Викторе Васильчикове, умном, талантливом, храбрейшем генерале, которого Горчаков послал, было, к Меншикову после Альмы, но Меншиков его встретил «по своему неприветливому обычаю» (слова Менькова) — и выжил из армии, а тот прибыл после Инкермана вновь — и уж остался до конца. Но и его должность, как и должность самого Нахимова, была подчиненная: Васильчиков был начальником штаба только гарнизона, а не начальником штаба главнокомандующего, каковым был Коцебу, который заменил на этом посту Семякина.

Нахимову, Тотлебену, как и погибшим до Нахимова Корнилову и Истомину, как и Васильчикову или С. Хрулеву, или А. Хрущову, никогда не пришлось достигнуть той иерархической вершины, на которой стояли Меншиков, Остен-Сакен, Михаил Горчаков.

Вот что писал весной 1855 г. о Нахимове и его роли в непрерывно бомбардируемом Севастополе человек, ежедневно наблюдавший адмирала. «О городе уже и говорить нечего, — каким образом там есть еще целые дома и люди, в особенности, каким образом остается невредимым наш неоцененный Павел Степанович Нахимов, это решительно необъяснимо. Смело могу уверить вас, что надобно близко пожить от этого человека, чтобы оценить его вполне и узнать, до какой степени он человек необыкновенный и замечательный. — Немного суровая оболочка, в которую кажется намеренно облекается его характер, — обманывала и до сих пор обманывает весьма многих, даже самых умных и проницательных людей; поэтому я вполне убежден, что он далеко неразгадан; мне кажется, что Павлу Степановичу можно даже сделать упрек в том, что он сам не хочет дать свободы всему объему своих способностей,—он как-то упорно ограничивает

---

[1] Рукописное отделение Публичной библиотеки, Q. IV. 365/2.

себя ролью безусловного и даже иногда безмолвного исполнителя, будто бы умеющего только стоять и умирать, и постоянно отрицает в себе право судить о чем-либо другом, кроме морского дела. — Между тем в разговорах с своими, к числу коих я горжусь быть причисленным, он становится иногда другим человеком, являются проблески столь быстрой, строго логической оценки обстоятельств совершенно разнородных, — иногда столь остроумные и иронические замечания, что невольно ожидаешь полного выражения невысказанного еще мнения, — но иногда также скоро снова является обычная оболочка, — так что часто начатая мысль окончательно высказывается в последующем разговоре. Нахимова нельзя судить не только с первого раза, но даже с десятого, если какое-либо особенно удачное обстоятельство не выставит характера его в настоящем свете; в особенности теперь — при беспрестанных, неумолкающих ни день, ни ночь тревогах и беспокойствах, — нельзя иметь верного понятия о том, как Павел Степанович умеет быть умен и мил, когда того захочет и когда не стесняют его отношения к тому лицу, которое с ним говорит. — Надобно иметь в виду; что Нахимов не имел и не имеет другой семьи, кроме своего Черноморского флота, что он все остальное считает для себя если не чуждым, то по крайней мере неинтересным и недоступным, так что нельзя и ожидать, чтобы все не моряки ценили его так, как должно и можно; к тому же он слишком мало льстит всякого рода основательным и неосновательным самолюбиям и, повидимому, столь же мало дорожит посторонними для него мнениями; вследствие сего, сколько мне кажется, — только огромная его слава и невыразимо-великое к нему доверие всех неискусников и нижних чинов всякого оружия освобождает его от всякого рода критик и порицаний. Я уже имел случай неоднократно высказывать, как меня удивляли собственно административные распоряжения Павла Степановича; я удивлялся, пока не понял, что не вполне оценивал человека, — теперь же удивляюсь только свежести, быстроте и логичности его распоряжений, когда вспоминаю, в какие тревожные и озабоченные минуты выпрашиваются у него различного рода подписи и разрешения. — Правда, что Павел Степанович мне, беспрестанно смеясь, говорит, что он всякий день готовит материалы для предания его после войны строгому суду за бесчисленные отступления от форм и разные превышения власти, что он уже предоставил все свое имущество на съедение ревизионных комиссий и разных бухгалтерий и контролей, — почти наверное П. С. прав, и вы сами знаете, что иначе и быть не может; но дело в том, что все идет, движется и удовлетворяется, — и все исключительно через Нахимова и его собственное управление. Говоря об этом, не могу опять не упомянуть о том, какого деятеля и неутомимого помощника нашел П. С. в капитане 2 ранга Воеводском, дежурном штаб-офицере его штаба, — и командире 30 флотского экипажа: — с таким человеком

приятно дело иметь. — Вообще любопытно видеть вблизи и на самом деле стройность и полноту нашей морской администрации, несмотря на все ее недостатки; у моряков решительно нет ничего невозможного, и все здесь так явно и сильно воодушевляется душою и волею Нахимова, — что невозможно не сознать вполне, что он действительно олицетворяет настоящую Севастопольскую эпоху, — ни я, ни все наши товарищи по морскому ведомству не понимают, что было бы и могло бы быть без него; о чем ни заговорите, о тех обстоятельствах, где вопрос идет о настоящем деле — Нахимов везде, — где нужна энергия воина, — где может явиться сочувствующая душа и заботливость сердца, везде и всегда он первый, — и часто единственный. — Я уверен, что когда-нибудь вполне оценят заслуги и высоконравственные достоинства этого редкого человека»...[1] «... Сколько раз я слышал, что Нахимов может быть только un homme d'action (человеком действия). Прочтите его приказы, им самим писанные, вы увидите, что он одушевляет перо точно так же, как и батареи. Трудно себе представить, какой радостный эффект сделало здесь между всеми производство П. С. в адмиралы. В особенности матросы и все нижние чины ликовали, как о собственной великой награде, у вас, вероятно, есть приказ, отданный Нахимовым по флоту к этому случаю, его везде встречали толпами, несмотря на все его же приказания людям не выходить из блиндажей, никакие запрещения и усилия тут не действовали. Я столь много распространился о Нахимове потому, что нельзя говорить о Севастополе, не имея нашего блистательного адмирала пред глазами и на первом плане, и что теперь только я понимаю, через какие испытания и душевные волнения П. С. прошел со времени начатия Севастопольской осады».

Могучее влияние Нахимова на гарнизон в эти последние месяцы его жизни казалось беспредельным. Матросов давно называли «нахимовскими львами», но и солдаты, которые только по-наслышке знали о Нахимове, пока не попали на севастопольские бастионы, очень скоро стали на него смотреть так же, как рядом с ними сражавшиеся матросы.

«К концу обороны Севастополя немного моряков уцелело на батареях, но зато весело было смотреть на эти дивные обломки Черноморского флота. Уцелевшие на батареях моряки по преимуществу были комендоры при орудиях... Белая рубашка... Георгиевский крест на груди... Отвага, ловкость и удаль, соединенные с гордым сознанием собственного дела и совершенным презрением (к) смерти, бесспорно давали им первое место в ряду славных защитников Севастополя», — так вспоминает о них полковник Меньков, бывший в Севастополе при штабе М. Д. Горчакова с середины марта до конца осады и имевший

---

[1] Г. А. Ф. К. Э. Фонд № 32, д. 177, 1854—55. Извлечение из письма из Севастополя. Севастополь, 26 апреля 1855 г.

поручение вести официальный дневник («журнал») военных операций [1].

Об этом нахимовском поколении моряков, почти полностью погибшем в Севастополе, не могли забыть и постоянно вспоминали и русские товарищи по обороне, и неприятельские военоначальники.

X

Наступила тяжкая, наредкость для Крыма суровая зима с морозами, снегами, с буйными северо-восточными ветрами. Терпел гарнизон в Севастополе, терпела русская армия на Бельбеке, но жестоко страдал и неприятель. Открылись повальные болезни среди осаждающих. Страшная буря 2 (14) ноября разметала часть неприятельского флота, погибли некоторые суда.

Очень трудно приходилось и осаждающим войскам.

Уоллинг, автор ценных примечаний к недавно им же найденному и опубликованному дневнику Джона Брайта, говорит об этой ноябрьской крымской буре: «Страшный шторм 14 ноября начал ту повесть о бедствиях и страданиях, которой суждено было сделать несколько ближайших месяцев одними из самых мрачных в английской истории» [2]. Эти слова очень характерны: в английском национальном предании три зимних месяца 1854—1855 гг. навсегда остались наиболее мрачными воспоминаниями о Крымской войне.

Снег то таял и образовывал топи и лужи, то снова все замерзало. Холера и кровавый понос опустошали ряды французской, английской, турецкой армий ничуть не меньше, чем русские войска. Среди солдат осаждающей армии стал явственно замечаться упадок духа. Число дезертиров, перебежчиков возрастало.

Тотлебен воспользовался начавшим явно ощущаться ослаблением неприятеля, чтобы не только усилить постоянные оборонительные верки крепости, им же самим в сентябре — октябре — ноябре созданные, но и расширить и вынести вперед оборонительную линию, устроить ложементы перед редутом Шварца и еще в некоторых местах, а также обеспечить четвертый бастион обширной системой контрмин.

Кроме того, Тотлебен получил от Нахимова указание, что необходимо немедленно устроить новые три батареи, которые должны были бы держать под своим огнем Артиллерийскую бухту: Нахимов убедился, что зимние бури размыли и растрепали то заграждение рейда, которое было устроено из потоплен-

---

[1] Г. А. Ф. К. Э. Фонд № 32, д. 177. 1854—55. Извлечение из письма из Севастополя. Севастополь, 26 апреля 1855 г.

[2] The diaries of John Bright, 177, New-York. 1936.

ных в сентябре русских кораблей, — и, следовательно, союзный флот получил возможность прорваться на рейд и, войдя в Артиллерийскую бухту, бомбардировать Севастополь. Тотлебен выполнил требование Нахимова.

«Служба войск на батареях и в траншеях, по колено в грязи и в воде, без укрытия от непогоды, была весьма тягостна», — пишет руководитель оборонительных работ Тотлебен и прибавляет в самом деле ужасающую подробность: «Притом же в продолжение целой зимы наши войска не имели вовсе теплой одежды»[1]. Теплая одежда не была изготовлена, так как были почти полностью раскрадены ассигнованные своевременно на это суммы. Эта одежда начала в малых количествах все же изготовляться к весне, когда в ней уже проходила надобность, но прибыла в Крым только в разгаре лета, так как были в спешном порядке разворованы тоже и средства, отпущенные на ее транспортирование в Крым. Опоздавшие на полгода полушубки, с которыми не знали, что делать, были тогда же, летом 1855 года, свалены в Бахчисарае и, так как они были сработаны из совсем гнилого материала, то быстро стали в знойное лето разлагаться и догнивать окончательно, так что заражали неслыханно острым зловонием все помещения, куда их свалили в кучу. Тем дело снабжения и окончилось.

Но солдаты, матросы и севастопольские рабочие даже и в легкой одежде продолжали, к восторгу Тотлебена, работать суровой зимой с полным усердием и преданностью делу, несмотря на морозы, снега, дожди, новые морозы и новые оттепели. Рабочие куска недоедали и ночей недосыпали, спеша на землекопные работы у бастионов, откуда часто возвращались искалеченными, а иногда и вовсе не возвращались. Жены носили им обед на бастионы, и случалось, что их разрывало в куски вместе с мужьями. Об этом есть ряд документальных свидетельств.

Самые важные из этих предпринятых зимой работ над созданием вынесенных вперед, по направлению к неприятелю, контрапрошей были устроены в феврале. Это были прежде всего два укрепленных редута, предназначенных защищать подступы к Малахову кургану, на высотах за Киленбалкой, а затем созданный спустя пятнадцать дней люнет на небольшом холме, который высился уже непосредственно впереди Малахова кургана.

Первый редут был заложен в ночь с 9 на 10 февраля, и так как в его устройстве участвовали главным образом люди Селенгинского полка, то этот редут, отстоявший от передовой французской укрепленной параллели всего на 400 сажен, стал называться Селенгинским. Генерал Александр Петрович Хрущов, командовавший полком и приданными ему в помощь тремя батальонами Селенгинского полка, блестяще выполнил свою работу под упорным штуцерным огнем французов, заметивших, хотя и

---

[1] «Описание обороны Севастополя», т. I, стр. 596, СПБ, 1863.

слишком поздно, смелую русскую затею. Ровно через два дня, в ночь с 11 на 12 февраля, Селенгинский полк, под начальством того же Хрущова, продолжал устраивать и укреплять Селенгинский редут. Французы с большими силами тотчас же обрушились на этот редут, но селенгинцы и волынцы, предводимые Хрущовым, не только отбили зуавов и другие отборные французские части, но и прогнали их почти до французской линии. Своевременно, очень дальновидно и умело поставленные Нахимовым корабли «Чесма» и «Владимир» в разгаре боя открыли учащенную стрельбу по французским резервам. В ночь с 16 на 17 февраля несколько левее Селенгинского и еще ближе к неприятелю (уже в трехстах всего саженях от французов) был заложен второй редут, «Волынский».

Не довольствуясь этим, Тотлебен с неслыханной быстротой устроил еще линию небольших укреплений, «ложементов», перед обоими редутами [1]. Укрепившись здесь, Тотлебен обратил все внимание на третью часть общей поставленной им себе задачи, состоявшей в том, чтобы оградить подступы к Малахову кургану, от целости которого зависели спасение или гибель Севастополя. Эта третья часть задачи заключалась в том, чтобы укрепить холм, непосредственно стоявший перед Малаховым курганом. В ночь с 26 на 27 февраля сюда явились три батальона Якутского полка, и разбивка укрепления была успешно начата. Тотлебен признал «выгодным устроить здесь укрепление вроде отрезного реданта, открытого с горжи» [2], другими словами, это был не замкнутый со всех сторон редут, вроде Селенгинского или Волынского, а л ю н е т, открытый с тыловой стороны (обращенной к своей, русской оборонительной линии) и обстреливавший неприятеля с трех «фасов» — правого, среднего, левого, образовавших между собой тупые углы. В честь Якутского полка люнет стал называться Камчатским.

С тех пор, в течение второй половины февраля, в течение всего марта, апреля, мая главные усилия французов и англичан, сначала не сумевших помешать устройству обоих редутов и люнета, а потом оказавшихся бессильными повторными натисками отнять их у русских, были направлены именно на эту цель. Без Малахова кургана им никогда не взять Севастополя, а пока Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет в руках русских, до тех пор не взять союзникам никогда Малахова кургана. Это многие из них видели ясно еще до замены Канробера генералом Пелисье.

Упорнейшая борьба закипела вокруг этих выдвинутых непосредственно против неприятеля трех укреплений. С большим трудом и потерями союзникам удалось в самом конце марта после интенсивнейшей бомбардировки и повторных атак ворваться в ложементы впереди пятого бастиона и редута Шварца, —

---

1 Тотлебен. Описание обороны Севастополя, т. II, стр. 23—26.
2 Там же.

и после того, как русские дважды штыками выгоняли их оттуда, они в ночь с 1 на 2 апреля все-таки разрушили некоторые ложементы окончательно. Но оба редута и Камчатский люнет и в апреле оставались в русских руках, хотя снарядов у защитников Севастополя становилось мало, пороху не присылали, приходилось в разгаре боев думать об экономии и слабее, чем нужно, отстреливаться. Да и людей становилось мало: и солдаты, и рядовое офицерство, и матросы со своими лейтенантами лезли прямо в огонь, не щадя себя.

Нахимов вынужден был в особом приказе напомнить, что нужно быть поскупее в трате этих трех драгоценностей: крови, пороха и снарядов. 2 марта 1855 года, в день назначения своего на должность командира порта и военного губернатора, он издал приказ по гарнизону Севастополя, где напоминал «всем начальникам священную обязанность, на них лежащую, именно предварительно озаботиться, чтобы при открытии огня с неприятельских батарей не было ни одного лишнего человека не только в открытых местах и без дела, но даже прислуга у орудий и число людей для различных работ были ограничены крайней необходимостью. Заботливый офицер, пользуясь обстоятельствами, всегда отыщет средства сделать экономию в людях и тем уменьшить число подвергающихся опасности. Любопытство, свойственное отваге, одушевляющей доблестный гарнизон Севастополя, в особенности не должно быть допущено частными начальниками... Я надеюсь, что господа дистанционные и отдельные начальники войск обратят полное внимание на этот предмет и разделят своих офицеров на очереди, приказав свободным находиться под блиндажами и в закрытых местах. При этом прошу внушить им, что жизнь каждого из них принадлежит отечеству, и что н е у д а л ь с т в о, а только истинная храбрость приносит пользу ему и честь умеющему отличить ее в своих поступках от первого. Пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз повторить запрещение частой пальбы. Кроме неверности выстрелов, естественного следствия торопливости, — трата пороха и снарядов составляет такой важный предмет, что никакая храбрость, никакая заслуга не должны оправдать офицера, допустившего ее».

Горчаков быстро утратил тот небольшой запас бодрости, с которым прибыл в Севастополь.

«До приезда кн. Горчакова значение флота, повторяю, было чрезвычайно высоко, потому что Сакен громко и прямо отдавал всю честь и славу Севастопольской защиты Нахимову и его питомцам — морякам. Когда приехал к нам хваленый, ученый и пышный штаб Южной армии — все начало принимать другую физиономию; — все они так уверены были в превосходстве своем над прежними деятелями, так верили в свое искусство, — что считали успех несомненным последствием своего приезда; — приводимые ими подкрепления они считали громадною армией, долженствующею нанести решительный удар неприятелю. —

Отсюда замечательный и многозначащий приказ князя Горчакова от 8 марта, который действительно ободрил всех до неимоверности, так что все готовы были склонить все чувства самолюбия пред вновь взошедшими звездами. Чрез неделю лица стали изменяться; добросовестные люди сперва, а после все прочие — стали признаваться, что не имели никакого понятия о том, что такое Севастополь; — сомнение начало так сильно вкрадываться в душу всех, что не было возможности таить нового впечатления. Нахимов — знавший положение дел в настоящем их виде и не заблуждавшийся насчет опасности, нам предстоящей, — с самого начала сколь возможно осторожно предостерегал от обещаний насчет успеха, — и постоянно, как тогда, так и теперь убеждал в необходимости действовать наступательно, чтобы пользоваться единственною, быть может, минутой, и не терять людей даром пока они стоят сложа руки. — Ему ответствовали обещаниями и отзывом о необходимости выждать подкреплений: пока ждали — открылась бомбардировка, и из пришедших новых войск положили почти дивизию. — Тут последовала разительная перемена: бомбардировка открыла глаза — никогда при кн. Меншикове не стали так отчаиваться в успехе, как теперь — и ныне даже оптимисты не видят ничего кроме отсрочки падения нашего чудного Севастополя. — Трудно, почти невозможно винить кого-либо: явно как день, что никто не знал и не воображал, что такое Севастопольская война. Теперь вопрос делается так прост и осязателен — что и я, не военный, понимаю затруднения; — да и трудно не понять, что без пороха, без снарядов, и при ежедневном уменьшении войска можно только стоять, чтобы не рисковать честью и судьбою. — Чем это кончится, конечно, определить нельзя; — конечно Севастополь держится очень сильно и стойко, — но устоит ли он против медленной смерти, подготовляемой ему неприятелем?»[1]

Так судили внимательные очевидцы.

XI

Упорная борьба из-за двух редутов и люнета продолжалась, но, кроме нового успеха французов на контрапрошах перед редутом Шварца 20 апреля, союзники ничем похвастать не могли. Эти занятые союзниками ложементы были устроены — одна

[1] Г. А. Ф. К. Э. Фонд № 32, д. 177, 1854—55. Извлечение из письма из Севастополя. Севастополь, 26 апреля 1855. Не подписано. По разным признакам поступило в архив из главного штаба.

линия в 50, а другая сзади — в 75 саженях от французских батарей (то есть в 25 саженях позади первой линии). Тотлебен довольно ясно дает понять, что как раз эти ложементы были созданы не по его инициативе, а из других источников мы знаем, что инициатива тут принадлежала самому Горчакову и его штабу, назначенный же командовать прикрытием их генерал Хрущов, — один из лучших командиров Севастополя, — не одобрял ложементов в этом месте и не считал возможным их долго удерживать. Некоторые из них и продержались всего неполных девять дней.

Но этим успехи союзников в апреле и ограничились. В союзном лагере стали даже подумывать о попытке большой операции с моря. Но еще в середине февраля Нахимов, считаясь с тем, что зимние непогоды сильно испортили заграждение из потопленных в сентябре пяти кораблей, затопил новую партию судов: корабли «Двенадцать апостолов», «Ростислав», «Святослав», «Гавриил» и два фрегата — «Мидия» и «Месемврия». Проход неприятеля в рейд снова стал невозможен.

В Париже были уже давно раздражены и обеспокоены. Неожиданное яростное сопротивление русских в Севастополе грозило совсем изменить намеченный план дальнейшего развития военных действий. К середине мая 6 (18) мая прибыли в Крым французские резервы: еще за несколько дней до того (8 мая н. ст. — 26 апреля ст. ст.) в Балаклаву привезены были 15 тысяч солдат Сардинского корпуса, присланные сюда на смерть Кавуром, министром Сардинского королевства, желавшим снискать этим милость Наполеона III в недалеком уже будущем, когда должен был стать вопрос об освобождении Ломбардии и Венеции от австрийского владычества.

Наполеон III не скрывал ни своего беспокойства, ни недовольства действиями Канробера. Генерал Реньо де Сен-Жан д'Анжели привез в Крым не только резервы: он привез также отставку главнокомандующего. Он высадился на берег 18(6) мая, а на другой день, 19 (7) мая, по окончании военного совета, — где были выслушаны категорические повеления Наполеона III, — Канробер заявил, что он отправляет в Париж просьбу об отставке, и на его место был назначен и тотчас же вступил в должность главнокомандующего генерал Пелисье, прославившийся своей долгой войной с арабами в Алжире, своими очень успешными и весьма зверскими действиями в этой постепенно завоевываемой стране. Это был очень энергичный, талантливый и во всех отношениях на все способный военный человек. В армии у него было прозвище: «коптитель» (l'enfumeur), так как в Алжире он однажды задушил дымом загнанное в пещеру население одной деревни. В этом способе знакомить арабов с французской цивилизацией Пелисье был лишь «основоположником». Он нашел многочисленных подражателей среди своих коллег.

И почти одновременно с его назначением Наполеон III стал

смотреть на войну в Крыму гораздо оптимистичнее, чем смотрел на нее в течение всей зимы и весны 1855 года.

Вот что нужно тут вкратце напомнить. Некоторые дипломаты, жадно следившие в Париже за сменой настроений Наполеона III, начали в феврале — марте 1855 года порой высказывать (конечно, в доверительных сообщениях) предположение, что император непрочь окончить войну. Это было совсем неосновательным преувеличением. Наполеон III слишком связал судьбу империи и участь своей династии с русской войной, чтобы отказаться от предприятия в целом. Да и Англия на это не пошла бы. Но в императорском окружении порой могли высказываться мысли о том, что незачем дальше даром тратить людей под Севастополем, когда можно перенести войну в другое место, например, к Перекопу, и отрезать весь Таврический полуостров от России. Речь заходила, таким образом, вовсе не о конце войны, но только о возможном прекращении осады Севастополя.

Из Англии с беспокойством следили за всеми этими настроениями в Тюильрийском дворце. 14 апреля 1855 года Наполеон III в сопровождении императрицы Евгении и блестящей свиты явился в Лондон с официальным визитом. Он был принят неслыханными излияниями чувств, овациями, манифестациями. Несметные массы приветствовали его появление оглушительными возгласами, столица и главные города были иллюминированы. Английский двор в течение всей недели пребывания императора оказывал ему совсем небывалые почести. Например, во время торжественной церемонии королева Виктория, низко нагнувшись, застегнула собственноручно на императорской икре бриллиантовую пряжку ордена Подвязки, высшего из британских знаков отличий.

Дело в том, что очень уже боялся Пальмерстон каких-либо неожиданных сюрпризов, всегда возможных со стороны высокого гостя, который хоть и поговаривал об активизации военных действий и даже о своей поездке в Крым, но явно лишился после смерти Николая одного из стимулов своей вражды к России. Не ведет ли новый кавалер ордена Подвязки тайных переговоров с Александром Николаевичем, как о том ходили уже слухи? Правда, Наполеон в течение всех семи дней визита в Лондоне и Виндзоре был очень милостив и ласков. «Как я счастлива, что познакомилась с этим необыкновенным человеком! Нельзя не любить его, совсем невозможно не восхищаться им!» написала сгоряча в своем дневнике Виктория. Но многоопытный Пальмерстон обычно больше всего и начинал бояться Наполеона III именно тогда, когда его величество становился слишком любезным и очаровательным.

Тем не менее, на этот раз беспокоиться английскому премьеру было еще рано. До взятия Севастополя Наполеон III на мир итти не хотел. Он все более и более раздражался малоуспешностью военных действий в Крыму.

Если относительно чего-либо Нахимов совершенно сходился

в мнениях с главнокомандующим князем Горчаковым, то именно относительно того, что наиболее тяжкие испытания лежат не позади, а еще впереди. В Крыму, да и в Петербурге правильно оценили реальное значение лондонского императорского визита.

Весна ведь не принесла и не могла принести особого облегчения осаждающей армии, — и отставка Канробера была не только демонстрацией немилости императора к генералу, не умеющему взять Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет и сломить отчаянное сопротивление русских, но и выражением недоверия верховного властелина ко всему, что творилось во французской армии.

Болезни, холод, русские ядра и пули косили осаждающих. Энергия Севастопольского гарнизона, выстроившего в самых невероятных условиях, буквально под дождем ядер и штуцерных пуль, Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет и три месяца отбивавшего все нападения на них, посеяла в осаждающих чувство растерянности, которого еще не было даже в тяжелом, морозном январе 1855 года. Но тут на помощь неприятелю явился дипломатический шпионаж. «В мае 1855 года в Париже отчаивались взять Севастополь, уже готовились остановиться на крайнем решении — снять осаду, когда правительство императора (Наполеона III) неожиданно, посредством таинственных откровений, узнало, что Россия уже истощила свои средства, что ее армии изнемогают...»

Эти таинственные откровения (les rèvèlations mystèrieuses) ничего таинственного для историка теперь уже не представляют: прусский военный атташе в Петербурге граф Мюнстер писал «в частных письмах» своему «другу» генералу фон-Герлаху, в Берлин, передавая все, о чем в его присутствии непозволительно и безответственно выбалтывалось при русском дворе и в аристократических салонах русской столицы, и все, что он добывал также всякими иными средствами. А французский посол в Берлине маркиз де Мустье купил копии этих «дружеских» писем у выкравшего их сыщика и переслал в Париж Наполеону III, как раз когда русские два редута и Камчатский люнет приводили того в смущение своей непреоборимостью. «Предвидели, что если неприятелю (то есть русским) удастся прочно укрепиться на некоторых отдельных пунктах, а именно перед Малаховым курганом и Корниловским бастионом, то его огонь сделается непреодолимым, его снаряды будут перелетать через гавань и будут достигать до северного берега (бухты). Тогда счастье улыбнулось императору (Наполеону III): в тот час, когда он считал уже все скомпрометированным, он узнал, что он выиграл партию»[1].

---

[1] Souvenirs diplomatiques. La Prusse et son roi pendant la guerre de Crimée, par G. Rothan, ancien ministre plénipotentiaire, p. 172—173, Paris, 1893.

7*

Едва в Париже были получены из Берлина эти известия о приближающемся истощении русских ресурсов, как в официальном органе французской империи «Монитер» появилась ликующая статья о близости победы, а из Тюильрийского дворца и военного министерства полетели к генералу Пелисье настойчивые требования прежде всего немедленно покончить с войной и покончить следующим образом: напасть на русскую армию, стоящую на Бельбеке, разгромить ее, затем окружить Севастополь также и с Северной стороны и принудить город к скорой сдаче. Но Пелисье имел уже свой план, состоявший в том, чтобы не делать ничего похожего на то, что требовал император, а вместо этого как можно быстрее покончить с тремя русскими контрапрошами и, взяв их, овладеть, в частности Камчатским люнетом, а затем штурмовать Малахов курган.

Тотлебен и Нахимов совсем ничего не знали об этой смене настроений в Тюильрийском дворце, о противоречиях и несогласиях между Наполеоном III и Пелисье, но зато очень твердо усвоили мысль, что французы должны покончить с этими тремя русскими контрапрошами, и поэтому готовились к новым тяжким боям.

Ни Тотлебен, ни Нахимов ни, даже, более их знающий двор и штаб Васильчиков не подозревали, до какой степени плохо сохраняются именно в Петербурге самые важные Севастопольские военные секреты. Николай и его преемник чувствовали себя окруженными предательством и таящейся где-то во тьме изменой.

Николай к самому концу жизни часто просто терялся, не зная, кому же доверять? Из русских выходят декабристы. Из военных немцев декабристов не бывает, но кто же их знает, может быть, они по-другому неблагополучны. В Инженерном замке под десятью запорами стояла громадная, в четыре-пять квадратных саженей детальная модель Севастопольских укреплений. Предмет опаснейший, государственная тайна, в самом деле, жизненного значения. И вот, Николаю доносят, что генерал фон Фельдман, комендант Инженерного замка, так хорошо бережет модель, что «каких-то два господина» могли туда проникнуть и «делали заметки в своих записных книжках». Вне себя государь мчится на место преступления и бешено налетает на Фельдмана. — «Как ты осмелился, старый дурак, нарушать мое строжайшее приказание о моделях? Как ты осмелился пускать туда посторонних, когда и инженерам я не доверяю эти вещи? До такой небрежности довести, что с улицы могли забраться лица, совершенно неизвестные? Для того я поставил тебя здесь комендантом? Что ты продать меня что ли хочешь? Я не пощажу твоей глупой лысой головы, а отправлю туда, где солнце никогда не восходит! Если я тебе не могу довериться, то кому же, после того, мне верить?»[1].

---

[1] А. В. Эвальд. Рассказы о Николае I, стр. 348 («Исторический Вестник», 1896, том 65).

Этот отчаянный вопрос Николай задавал не только коменданту Фельдману. Царь знал, что его продают и покупают именно те, кто ближе всех к нему стоит. История с генералом Фельдманом произошла очень незадолго (Эвальд, присутствовал при этой сцене) до смерти Николая. Можно полагать, что информация из Инженерного замка попала в руки Наполеона III почти одновременно с петербургскими письмами Мюнстера.

XII

«В Севастополе попрежнему; только не знают теперь, что делать с Камчатским редутом? Выдвинули его, — и ежедневная потеря огромная, он подвержен огню с трех сторон. Неприятель из ничтожных траншей понастроил сильные батареи на Сапун-горе по покатостям к Килен-балке. Находили затруднительным взять эту высоту, когда не было ни одного орудия, теперь она вооружена очень сильно и продолжают работы», — пишет генерал Семякин уже отставленному Меншикову. Он пишет так, будто он совсем не при чем в содеянных ошибках, тогда как он, в качестве начальника штаба у Меншикова, занимал одно из главных командных мест![1].

Нахимов понимал громадное значение Камчатского люнета и именно поэтому мог не сомневаться, что французское верховное командование изо всех сил будет стараться с ним покончить. Перед этим люнетом были отборные французские войска, обильно снабженные саперными силами. Нахимов ставил лучших офицеров для наблюдения за всеми попытками французов приблизиться к люнету. И офицеры и солдаты этого русского наблюдательного поста погибали быстро, один за другим.

Вот что писал Нахимов 24 марта 1855 года отцу одного из погибших на этом опасном посту: «Доблестная военная жизнь ваша дает мне право говорить с вами откровенно, несмотря на чувствительность предмета. Согласившись на просьбу сына, вы послали его в Севастополь не для наград и отличий, движимые чувством святого долга, лежащего на каждом русском, и в особенности моряке. Вы благословили его на подвиг, к которому призвал его пример и внушения, полученные им с детства от отца своего; вы свято довершили свою обязанность, он с честью выполнял свою. Почетное назначение — наблюдать за войсками, расположенными в ложементах перед Камчатским люнетом, — было возложено на него, как на офицера, каких не легко найти в Севастополе, и только вследствие его жела-

[1] Военно-ученый архив, 1855, № 5757, 25 марта 1855 г. Семякин — Меншикову. Семякин неточно называет Камчатский люнет «редутом».

ния. Каждую ночь осыпаемый градом пуль, он ни на минуту не забывал важности своего поста и к утру с гордостью мог указывать, что бдительность была не даром: с минуты его назначения неприятель, принимаясь вести работы тихою сапой, не продвинулся ни на вершок. Несмотря на высокое самоотвержение его, ни одна пуля его не задела, а всевышнему богу угодно было, чтобы случайная граната была причиной его смерти, — в один час ночи с 22 на 23 число он убит... В Севастополе, где весть о смерти почти уже не производит впечатления, сын ваш был одним из немногих, на долю которых досталось искреннее соболезнование всех моряков и всех знавших его; он погребен в Ушакове балке; провожая его в могилу, я был свидетелем непритворных слез и грусти окружающих. Сообщая эту горестную весть, я прошу верить, что вместе с вами и мы, товарищи его, разделяем ваши чувства; прекрасный офицер, редких душевных достоинств человек, он был украшением и гордостию нашего общества; а смерть его мы будем вспоминать, как горькую жертву, необходимую для искупления Севастополя. Оканчивая письмо, я осмеливаюсь просить вас доставить мне случай хотя косвенным образом быть полезным его несчастной супруге и ее семейству» [1].

Судьба люнета была предрешена. 20 (8) мая Пелисье объявил начальнику инженеров генералу Ниелю о подготовляющемся штурме на «Зеленый холм» (Камчатский люнет). «Напасть на Зеленый холм? Да можно ли об этом думать? Ведь это будет целое сражение! — воскликнул Ниель. «Что же это и будет целое сражение», — ответил Пелисье. Спустя несколько дней после этого разговора наступила развязка.

Главнокомандующий французской армией генерал Пелисье с генералами Ниелем, Трошю, Фроссаром, Бере и всем своим штабом прибыл за час до начала штурма (26 мая — 7 июня), направленного на Камчатский люнет. Сигнал к штурму был дан генералом Боске вскоре после 6 часов. «Ураган картечи» с Камчатского люнета встретил, по словам барона де Базанкура, штурмующие колонны. «Сопротивление было ужасно, русские сражаются отчаянно, ружейный огонь в упор повергает на землю первые ряды». Когда французы ворвались на люнет, полковник Брансьон, вбежавший одним из первых на люнет, водрузил было французский флаг — и тут же был убит наповал [2]. Как будет рассказано ниже, Нахимов с уцелевшими еще матросами и солдатами отступил к куртине у Малахова кургана, — и вот что случилось далее, по словам французских участников сражения: французы бросились преследовать отступивший из Камчатского люнета отряд и «пытались проникнуть в ров Малаховской батареи вместе с ними (отступившими русскими)... Но внезапно

---

[1] Архив севастопольского музея обороны, 5080. Письма П. С. Нахимова, 24/III 1855. Севастополь.

[2] L'expédition de Crimée... Chroniques de la guerre d'Orient par le baron de Bazancourt, стр. 349, Paris, 1856.

бурная стрельба поражает их и в одно мгновенье устилает землю нашими (французскими. — Е. Т.) убитыми солдатами... Вскоре наша (французская) неосторожная колонна принуждена податься назад пред значительными силами, которые идут прямо на центр атакующих. Камчатский редут не мог еще представить никакого убежища против возвращающихся русских: внезапный взрыв загромоздил редут бревнами, досками, горящими мешками, — и этот важный пункт, так доблестно взятый нашими войсками и на котором уже развевалось знамя с французским орлом, снова был занят русскими»[1]. Это и была атака Хрулева, опрокинувшая французов и выбившая их в несколько мгновений из Камчатского люнета. Французский патриотизм заставил лишь летописца событий назвать русские силы, отобравшие снова Камчатский люнет, «значительными», у французов в этот момент сил было гораздо больше.

Таков короткий рассказ французского наблюдателя.

Вот что говорят русские источники, дающие гораздо больше подробностей об этом же событии, но в общем не противоречащие французским и английским свидетельствам.

«В пять часов дня (26 мая — 7 июня н. ст.) мы заметили массы неприятельских войск, стремившиеся на левый наш фланг; но огонь был так силен, что дым и пыль все помрачали и не было никакой возможности следить за дальнейшими движениями. Вскоре после того по телеграфу дано знать, что неприятель завладел двумя редутами — Волынским и Селенгинским. Там завязалось страшное сражение. Много войск отправлено туда и из города. Ружейная пальба продолжалась всю ночь до утра. В 6 часов пришла весть, что и Камчатский редут тоже взят. Происшествия эти подействовали на всех хуже предсмертных известий, звук голоса у каждого заметно изменился. К счастью, сзади Камчатского редута была непрерывная линия. Не будь ее, Севастополь тогда же мог пасть»[2]. Спасли его Нахимов и Хрулев, который, замечу к слову, был сюда переведен тем же Нахимовым, понимавшим лучше всех значение этой линии и ставившим сюда самых лучших командиров, которыми только располагал. Цитируемый автор неточно называет Камчатское укрепление «редутом»; это был не редут, а люнет, так как был укреплен лишь с трех сторон, а его «горжа», четвертая сторона, повернутая к постоянным севастопольским веркам, как уже сказано выше, была оставлена открытой.

Этот штурм двух редутов и Камчатского люнета, нужно тут же сказать, был подготовлен начавшимся накануне, 25 мая (6 июня), новым, колоссальных размеров общим бомбардированием Севастополя и всех его укреплений, и уже с самого начала было ясно, что особое внимание обращено французской и английской артиллерией именно на Селенгинский и Волынский

---

[1] Bazancourt, т. II., стр. 322.
[2] Рукописи о Севастопольской обороне, т. III, стр. 380.

редуты и на Камчатский люнет. Против Камчатского люнета был сосредоточен огонь 48 неприятельских орудий. Перебита была к вечеру большая часть артиллерийской прислуги, разрушены и сбиты в кучу почти все амбразуры. Английские орудия, прекрасно пристрелявшись, уничтожили бруствер правого фаса и подбили несколько орудий. Отстреливаться к концу дня с Камчатского люнета стало почти невозможно. Временно был приведен к молчанию и лежащий за Камчатским люнетом Малахов курган. На другой день, 26 мая, с рассвета неприятельский огонь возобновился с новой силой, — он, впрочем, и ночью ослабел не очень значительно. Подверглись на этот раз с утра уже страшному опустошению и Волынский и Селенгинский редуты, и Малахов курган.

Но вот с трех часов дня вдруг все английские батареи, которые до сих пор с утра 26-го били по Малахову кургану, сразу прекратили обстрел Малахова и повернулись против Камчатского люнета, так страшно пострадавшего накануне и еще не восстановленного, несмотря на все ночные усилия его уцелевших защитников. Тут-то и сказалось гибельное, совершенно бессмысленное распоряжение Жабокритского, с такой беспечной легкостью одобренное штабом гарнизона за четыре дня до того, 22 мая, и включенное в диспозицию. Этой диспозицией были ослаблены до крайней степени (это слова Тотлебена) именно те части, которые должны были защищать оба редута и люнет: на Волынском и Селенгинском редутах Жабокритский оставил (в общей сложности!) один батальон, численностью в 450 человек, то есть по 225 человек на редут. А на Камчатском люнете он оставил 350 человек. Из этих 350 человек часть была истреблена 25 и 26 мая губительной непрерывной бомбардировкой.

И вдруг перед вечером 26 мая по русской линии пронесся грозный слух, что французы готовят штурм обоих редутов и Камчатского люнета. Измученной уцелевшей горсточке людей, защищавших Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет, которых, как сказано, еще до двухдневного адского огня было в общей сложности 800 человек, а теперь, к вечеру 26-го, оставалось в лучшем случае человек шестьсот, предстояло выдержать специально против нее направленный штурм. А силы, которые генерал Пелисье отрядил для штурма, были подавляюще огромны: минимальный подсчет их дает тридцать пять тысяч человек (Тотлебен считает от 35 до 40 тысяч человек). Из них специально против Камчатского люнета Пелисье направил большую часть — 21 батальон, тогда как против Селенгинского и Волынского редутов вместе — 18 батальонов. Мало того. Против Камчатского люнета были направлены отборные войска. Из 21 батальона, которым было велено овладеть Камчатским люнетом, 2 батальона были из императорской гвардии Наполеона III.

Положение русских было совсем отчаянное. Когда сигнальщики с наблюдательных постов к вечеру 26 мая заметили сбор

и движение во французских траншеях и одновременно получили сведения от перебежчиков, что нужно ожидать немедленного штурма, все устремились за распоряжениями к генералу Жабокритскому, к ответственному виновнику безобразного ослабления редутов и люнета, к человеку, отдавшему их на гибель. Но, узнав о готовящемся штурме, генерал Жабокритский внезапно объявил, что ему нездоровится, и, бросив все на произвол судьбы, не сделав никаких распоряжений, уехал от назойливых вопросов, не теряя золотого времени, на другой конец города.

Ни Нахимов, ни Тотлебен не обвиняли Жабокритского в прямой измене, в чем его подозревали тогда и позже многие. Тотлебен осторожно пишет: «Но вместо того, чтобы принять меры для усиления гарнизонов этих укреплений, генерал Жабокритский рапортовался больным и уехал на Северную сторону»[1].

Осип Петрович Жабокритский, конечно, изменником не был, хотя и воспитывался в католическом монашеском духовном училище отцов Базильянов и во время польского восстания 1831 года, будучи штабс-капитаном русской армии, оказался после одной стычки его отряда с поляками (при реке Мухавце, 29 марта 1831 года) в плену у поляков. Все это, разумеется, нисколько не доказывает его измены и сознательной вины в гибели двух редутов и Камчатского люнета, а никаких аргументов в доказательство его измены его обвинители не приводят. Дело было вовсе и не в «измене», а в недомыслии, бездарности, военной невежественности, полном равнодушии к делу, моральной дряблости, — словом, в типичных свойствах военного карьериста николаевского времени, свойствах, нисколько карьере не вредивших, а, скорее, помогавших.

Наконец, убегая на Северную сторону, Жабокритский, может быть, успокаивал свою совесть надеждой, что, авось, редуты и люнет и не погибнут: остались пока вот эти Нахимовы, Хрулевы и Тотлебены, которые всюду суются, у которых еще пока не снесло ядром голову, как у Истомина, и не отбило внутренностей, как у Корнилова, и которые каким-то образом обыкновенно выручают и поправляют дело, сколько бы его ни портить. По крайней мере, у Меншикова, а потом у Остен-Сакена и Горчакова подобное умонастроение можно уловить вполне явственно и в их действиях, и в их переписке. Во всяком случае, Жабокритский вполне одобрил перед своим экстренным отбытием на Северную сторону передачу начальства над войсками угрожаемого участка (Корабельной стороны) генералу Хрулеву. Но на этот раз все было так основательно испорчено, что никакое геройство Нахимова и его матросов, Хрулева и его солдат не помогло.

В начале седьмого часа вечера 26 мая, когда французы бросились на штурм разом на оба редута и под Камчатский люнет и штурмующие колонны в составе двух полных бригад, после

[1] Описание обороны города Севастополя, ч. II, отдел 1-й, стр. 295, СПБ, 1868.

отчаянной схватки выбили прочь несколько сот защитников Селенгинского и Волынского редутов, Хрулев быстро подтянул подкрепления и остановил дальнейшее продвижение французов, нанеся неприятелю тяжкие потери, но и страшно потерпев от ружейного и орудийного огня.

Нахимов, едва только узнав о готовящемся штурме, помчался на место действия и явился на самый опасный из всех угрожаемых пунктов — на Камчатский люнет. Не успел он соскочить с лошади и подойти к батареям, как начался штурм люнета. Нахимов поднялся на вышку и с банкета убедился, что неприятель идет штурмовать люнет в огромных силах разом с трех сторон. Матросы встретили штыками и ружейным огнем ворвавшихся в люнет зуавов и французских гвардейцев. Как и все прочие свидетели, Тотлебен приписывает безудержную ярость совсем безнадежной с самого начала защиты Камчатского люнета присутствию Нахимова: «Матросы, одушевленные присутствием любимого начальника, с отчаянием защищали свои орудия»[1]. Непонятно, как в этой отчаянной свалке, где на каждого русского матроса приходилось человек десять французов, не был убит или взят в плен Нахимов. Его высокая сутулая фигура в сюртуке с золотыми эполетами, которых он и тут, отправляясь на штурм, не пожелал снять, — бросалась в глаза прежде всего атакующему неприятелю.

Но вот новая французская часть обошла Камчатский люнет с тыла. Уцелевшая кучка матросов и солдат окружила Нахимова, пробила себе дорогу отступления штыками и остановилась за куртиной, шедшей от Малахова кургана до второго бастиона. Французы решили выбить оттуда Нахимова с его кучкой. Малахов курган в это время почти не отвечал на огонь неприятеля, овладевшего и Селенгинским и Волынским редутами, и Камчатским люнетом и уже поведшего обстрел Малахова кургана с самого близкого расстояния. Хрулев, подоспевший с быстро собранными им резервами, спас и Малахов курган, и отбил у французов отчаянной штыковой атакой Камчатский люнет. Но новой контратакой французы снова им овладели. Нахимов уже перешел со своим отрядом из куртины на Малахов курган и сейчас же открыл сильный артиллерийский огонь по занятому французами вторично Камчатскому люнету.

Приведем в дополнение к уже сказанному некоторые документальные подробности и пояснения, которые могут сделать данную только что общую картину более яркой и, главное, еще более точной.

Французы громили люнет уже давно, беспрерывно и беспощадно. Каждый день уносил много жизней, но подходила новая смена. Когда пришел момент штурма, французы направили, как уже сказано, на люнет подавляющие силы. Вот что читаем в дневнике, веденном командиром люнета Тимирязевым (26 мая): «Шесть часов пополудни... Признаюсь, положение было самое

[1] «Описание обороны», ч. II., отдел 1-й, стр. 298.

незавидное того, кто должен был защищать редут: 125 человек команды и надежда на помощь божию — вот были данные, на которых я полагал защиту люнета. Но вдруг невидимо господь послал люнету Павла Степановича, который не задумался в эти критические минуты навестить тех, которым совет его был необходим. Адмиралу сопутствовал адъютант царя лейт. Фиьгаузен. В коротких словах передал адмиралу положение своего люнета и неизбежность штурма. Но все-таки он приказал показать повреждение в артиллерии. Едва лишь прошли 15-е орудие, как доклад вахтенного офицера мичмана Харламова о наступлении неприятеля заставил меня просить адмирала удалиться и прислать подкрепления. Но, не внемля просьбе моей, адмирал, обнажая кортик, вскочил на банкет. Просьбу я повторил второй раз, уверив его, что бесполезно его пребывание — все, что можно будет сделать для защиты люнета, будет исполнено. Удивило меня то, что адмирал в первый раз послушал убеждений. Не раз случалось мне говорить ему при посещении люнета, когда он, взойдя на банкет, довольно долго стоял открытым до половины груди. Обыкновенно в ответ его слова были: «Сойдите сами, если хотите»[1]. Иногда он варьировал: «вас не держу».

Нахимов был, таким образом, на Камчатском люнете в грозные часы, когда французы пошли на приступ окончательно разрушенного предшествующими бомбардировками укрепления. Адмирал лично убедился в абсолютной невозможности держаться далее на люнете, и когда израненный, случайно уцелевший командир люнета лейтенант Тимирязев просил потом о назначении над собой следствия, Нахимов ответил самой лестной хвалой.

Привожу здесь эту переписку, потому что всякая попытка изложения ее может только ослабить общее впечатление.

«В 6 часов его высокопревосходительство Павел Степанович посетил редут и удостоил меня и команду своей благодарностью. Лишь только я успел провести адмирала на редут, как доклад вахтенного офицера г. мичмана Харламова, что неприятель подступает, заставил меня просить адмирала удалиться и прислать подкрепление; сам я скомандовал: «Левый фас, начинай ядром с дальней картечью», пошел на банкет. Прикрытие на редуте состояло из неполного батальона Полтавского полка, которое разбежалось по банкетам и открыло ружейную пальбу. Между прочим, французы подходили к левому фасу и к горже редута по направлению из Киленбалки; матросы били врага своего картечью довольно удачно до тех пор, пока неприятельский залп из 15 мортир и 7 орудий бомбами положил более половины достойной прислуги моряков и меня осколком контузило в левый висок. Я был в памяти еще, взявши за шнур,

[1] Архив Севастопольского музея обороны, 5141, VII. Бумаги Тимирязевых. Из журнала, веденного Тимирязевым на Камчатском люнете с 27/III—26/V.

спустил курок 14-го орудия и, может быть, этот выстрел в меру отомстил за нашу потерю; но только что я поднялся на банкет, чтоб оттуда наблюдать движение неприятеля, штуцерная пуля ранила меня в правую ногу навылет, и я упал, матросы подхватили меня подруки и, видевши, что прикрытие отступает, не выдерживая натиска неприятеля, повели меня из редута, но я успел прокомандовать: «Заклепывать орудия, бери с собой принадлежности и отступай за прикрытие!».

Г-н мичман 42 экипажа Беличев командовал людьми при отступлении, причем он был ранен. Мичман же Харламов, принимая мою команду заклепывать орудия, распоряжался оставшимися при нем несколькими матросами, которым было приказано поторопиться и отступить за армиею; последним редут оставил 33-го флотского экипажа квартирмейстер Панкрат Трофимов, впереди которого шел я, поддерживаемый двумя матросами; кровь из раны ручьем поливала редут и омывала срам моего отступления. Божия милость и картечь с Корнилова бастиона спасли меня от плену; меня вели до казармы, где и положили на носилки. Донесение это не есть оправдание, которое я приношу, но описание дела как было, покорно предаюсь воле начальства и прошу судить меня или же оправдать: честь, которой мы, моряки, пользуемся, — дорога мне, — я лучше умру, чем понесу позорное нарекание» [1].

Нахимов поспешил ответить израненному Тимирязеву одним из тех писем, которыми он умел награждать этих обреченных на гибель людей, своих лучших сотрудников.

«Бывши личным свидетелем разрушенного и совершенно беззащитного состояния, в котором находился редут ваш, и, несмотря на это, бодрого и молодецкого духа команды и тех усилий, которые употребили вы к очищению амбразуры и приведению в возможность действовать хотя несколькими орудиями, наконец, видевши прикрытие под значительно усиленным огнем неприятеля, я не только не нахожу нужным назначение какого-либо следствия, но признаю поведение ваше в эти критические минуты в высшей степени благородными. Защищая редут до последней крайности, заклепавши орудия и взявши с собой даже принадлежности, чем отняли у неприятеля возможность вредить вам при отступлении, и, наконец, оставивши редут последним, когда были два раза ранены, вы выказали настоящий военный характер, вполне заслуживающий награды, и я не замедлю ходатайствовать об этом перед г. главнокомандующим. Адмирал Нахимов» [2].

С Камчатским люнетом пали 26 мая и два редута, созданные с одной и той же целью, — Волынский и Селенгинский.

---

[1] Архив Севастопольского музея обороны, 5141, VII. Бумаги Тимирязевых. Донесение лейтенанта Тимирязева 1-го об обороне Камчатского люнета 26 мая 1855 г. Писано писарской рукой, без подписи.

[2] Архив Севастопольского музея обороны, 5078, VII. Нахимов А. М. Тимирязеву от 1/VI—55. (Севастополь). Подлинник.

На другой день Нахимов собрал у себя военный совет и поставил вопрос: делать ли усилия, чтобы отобрать у французов эти редуты, или оставить их в руках неприятеля? Решено было оставить неприятелю. Предвиделся новый отчаянный общий штурм Севастополя. Все знали, зачем назначен в качестве главнокомандующего французской армией, вместо уволенного Канробера, генерал Пелисье и какие ему даны инструкции от Наполеона III. Тратить силы и вконец изнурять войска на труднейшее дело обратного завоевания трех редутов Нахимов не считал нужным.

При боях у Камчатского люнета Нахимов был контужен. Он знал, что потеря этих трех контрапрошей произвела удручающее впечатление на офицеров, — и он ставил им в пример никогда не унывающих матросов и солдат. «Нет-с, у нас тут нет уныния и быть не может. Я бы на месте главнокомандующего расстрелял того, кто приводит в уныние. А что они будут теперь бить наши корабли, — пускай бьют-с, не конфектами, не яблочками перебрасываемся. Вот меня сегодня самого чуть не убило осколком, — спины не могу разогнуть, да это ничего еще, слава богу, не слег».

Наблюдавшие поведение Горчакова и его начальника штаба Коцебу в деле защиты Волынского и Селенгинского редутов и Камчатского люнета возмущались легкомыслием, с каким высшее командование путало и портило дело. «Мудрое распоряжение главного штаба Крымской армии обеспечило союзникам взятие Волынского, Селенгинского редутов и Камчатского люнета», — читаем мы в черновых заметках Ухтомского. — «В ожидании их штурма отозван был командующий войсками Корабельной слободы генерал Хрулев и вместо него назначен был генерал Жабокритский, заядлый поляк, не сочувствующий войне с французами. По представлению этого генерала, 22 мая гарнизоны означенных редутов были ослаблены до последней крайности. Вследствие такого распоряжения главного штаба эти редуты были отданы на жертву неприятелю, также вся левая часть обороны поставлена была в беззащитное положение. Когда с наблюдательных постов 26 мая замечена была готовность неприятеля штурмовать означенные укрепления, то вместо того, чтобы послать им помощь, Жабокритский подал рапорт больным и уехал на Северную сторону». Этих гибельных промедлений и метаний уже никакие Нахимовы и Хрулевы исправить не могли: «Назначенный снова начальником войск Корабельной слободки генерал Хрулев хотя и принял все меры к защите этих укреплений, но резервы пришли очень поздно, и дело было проиграно. Адмирал Нахимов лично вмешался в это дело и едва не попал в плен»[1].

---

[1] Архив Севастопольского музея обороны, 5120. IV. Черновые заметки Ухтомского. Ухтомский пишет неправильно «Жабокрицкий» вместо «Жабокритский».

Что чувствовали и переживали защитники Севастополя, своей кровью платившие не только за обессиливший и парализовавший Россию николаевский режим, не только за грабительство интендантов, но также и за ничтожество высшего командного состава, что они думали про себя или отваживались говорить вслух лишь в интимной компании после потери Селенгинского и Волынского редутов и Камчатского люнета, это мы узнаем из рукописных заметок Милошевича, ничего, в сущности, общего не имеющих ни по тону, ни по содержанию с той приглаженной автором, учтивой к начальству и выхолощенной цензурой тоненькой книжкой, которая была спустя несколько лет напечатана. «Признавая нелепость взводимых на Жабокрицкого (так Милошевич пишет фамилию генерала Жабокритского. — Е. Т.) обвинений в продаже редутов, я презираю его тем не менее как бездарного и пустоголового генерала и презираю столько же Коцебу и Сакена, потому что в этом случае очень подозрительны их равнодушие и бездействие. И тот и другой были непримиримыми врагами славы Хрулева...» «Вся Россия могла выставить в Севастополе только немногих генералов и истинных сынов своих — Корнилова, Истомина, Нахимова, Хрулева, Тотлебена и Васильчикова. Оставя в покое Горчакова, который был занят думами о том, как бы в будущий вторник помог ему святой угодник, имеем право спросить: что же делал Сакен?»[1].

Ровно ничего не делал, — так что вопрос этот чисто риторический. И Остен-Сакен, и Горчаков, и Коцебу решительно ничего не предприняли, чтобы воспрепятствовать убийственной нелепости, содеянной Жабокритским и погубившей Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет. Напротив, они всецело одобрили его диспозицию и вполне разделили его ответственность.

Потеря Селенгинского и Волынского редутов и Камчатского люнета, считая с той битвой, которая с переменным успехом кипела несколько часов уже после штурма этих трех укреплений, стоила русским войскам потери пяти тысяч человек. Французы потеряли 5 554 человека, англичане 693 человека. Русские выпустили 25—26 мая 21 091 артиллерийский снаряд, французы около 30 тысяч, англичане 14 352 снаряда»[2].

Нахимов и Хрулев снова могли убедиться, как высшее командование защищает Севастополь. Отчетливо понимал это и Тотлебен. Но разве могли они передать потомству все, что они передумали и перечувствовали в такие минуты, как те, которые последовали после потери редутов и люнета? Разве сам Тотлебен, замечательный инженер, создатель защиты Севастополя, великий Тотлебен, как его называют французы, автор классичес-

[1] Одесский исторический архив, 1138, архив № 23, Зеленого. «Заметки Милошевича о Крымской кампании». Писано рукой неизвестного. Рукопись на 18—46 листах. Приложения: листы 46—48. Цитируемое место на листах 28—29.

[2] «Описание», ч. II, отдел I-й, стр. 308—309.

кого «Описания обороны», этого замечательного первоисточника по истории Крымской войны, разве этот глубокий военный мыслитель, безусловно непререкаемый мировой авторитет по осадной войне, говорит полным своим голосом, когда повествует о севастопольских бедствиях? Ведь действительная мысль его совершенно ясна: Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет погибли, несмотря на весь героизм защитников, исключительно из-за нелепых распоряжений Горчакова и его штаба с Павлом Евстафьевичем Коцебу во главе и Жабокритского, которого Горчаков за некоторое время перед штурмом назначил ни с того, ни сего начальником войск Корабельной стороны, без тени оснований сместив с этого поста Хрулева (к которому пришлось снова броситься за помощью вечером 26 мая, когда уже ничего спасти было нельзя).

А как выражает эту свою мысль Тотлебен? «Главная причина потери... заключалась в допущенном диспозицией 22 мая чрезмерном ослаблении гарнизонов их...» «Принимая во внимание, что даже при таких слабых гарнизонах, какие имели редуты и Камчатский люнет, при позднем прибытии резервов и при неудачном для нас исходе дела, французы потеряли при штурме около 5 тысяч человек, можно полагать, что если бы они встретили на редутах с самого начала отпор со стороны восьми батальонов, то потери их были бы так значительны, что, по всей вероятности, редуты могли бы быть нами удержаны». Но этих восьми батальонов не было! Они еще были на редутах и на люнете до самых последних дней перед штурмом, но вот как раз за четыре дня до штурма Горчаков и Коцебу с Жабокритским совершенно бессмысленно их увели прочь. Тут же и в столь же деликатных выражениях Тотлебен доказывает именно полную бессмыслицу этого увода, полное отсутствие оправданий для этой губительной, непоправимой нелепости.

«Что бы вы стали делать, когда штурм 26 мая был бы отбит, а это могло случиться, если бы в редутах было больше гарнизона и, вообще, на Корабельной более войск... — спросил русский полковник Циммерман французов, беседуя с их генералами и офицерами подолгу о войне, когда она уже окончилась, во время перемирия 1856 года, предшествовавшего заключению мира. И вот ответ, который он получил. Французы заявили Циммерману, что если бы редуты и люнет не были ими взяты, то «в таком случае положение (союзников) сделалось бы затруднительным, и так как в союзной армии мнение большинства было против штурма редутов, то Пелисье, как один, настаивавший на этом, упал бы в общем мнении и мог быть удален от командования» [1].

Таким образом, если Меншиков и Данненберг спасли союзников при Инкермане, то Горчаков, Коцебу и Жабокритский

[1] В. м. архив, ф. Меншикова, папка 35. Записки Циммермана.

обеспечили их успех на Камчатском люнете и Селенгинском и Волынском редутах.

Любопытно, что биограф Тотлебена Н. К. Шильдер почему-то посвятил гибели Камчатского люнета и обоих редутов всего полстраницы, где изложил вкратце предупреждение Тотлебена, адресованное Остен-Сакену, о необходимости усилить войска на обоих редутах и на люнете. И затем прибавляет: «Но по стечению каких-то роковых обстоятельств (разрядка моя. — *Е. Т.)* указания Тотлебена не были исполнены, напротив того, гарнизоны... были ослаблены до последней крайности» [1].

Нисколько не таинственными «роковыми обстоятельствами» тут были, конечно, и самое пребывание Дмитрия Ерофеевича Остен-Сакена в должности начальника гарнизона, и нахождение на посту главнокомандующего князя М. Д. Горчакова, и на посту начальника его штаба Павла Коцебу, и невозможность для Тотлебена, Нахимова, Васильчикова, Хрулева, Хрущова справиться с тупостью, небрежностью, непониманием, самоуверенным невежеством всего их высшего начальства. И, разумеется, Шильдер это отлично знает, но робеет, стесняется и не пишет, а скрывает свою мысль за «каким-то» «роковыми обстоятельствами» и даже воздерживается от малейшего намека: ведь жив был еще, когда он писал, долговечный Остен-Сакен, получивший графский титул (в замену баронского) за Севастополь, жива была и цензура.

Так проглатывали нужные слова едва ли не все историки, писавшие вслед за Тотлебеном об осаде Севастополя: русские — потому, что мешала цензура, стесняли соображения личных отношений; английские и французские — потому, что лестно было внушить читателям уверенность, будто только достоинства союзных войск и мнимая «гениальность» их предводителей, а вовсе не промахи русского высшего командования, и разруха, и дезорганизация, до которых довел Россию весь строй, были причиной их успехов. Только умиравший фельдмаршал Паскевич со своего смертного одра послал Горчакову ужасающий и убийственный приговор, знаменитое письмо, где он корит Горчакова между многим прочим также и в потере редутов и Камчатского люнета: «Вы жили день за днем, никогда не имели собственного мнения и соглашались с тем, кто последний давал вам советы... задняя мысль, руководившая вами при составлении обзора ваших действий, была уверенность, что никто вам возражать не будет и по истечении некоторого времени все, что вы писали, будет признано фактом историческим».

И Паскевич оказался в общем совершенно прав: после войны ни Корнилов, ни Истомин, ни Нахимов не могли уже явиться с опровержениями официальной лжи, их уста замкнула смерть, а об опровержениях со стороны случайно уцелевших Тотлебенов, Хрущовых и Хрулевых позаботилась

[1] «Гр. Э. И. Тотлебен», т. I, стр. 426.

цензура. Но кто больше всех был виноват в том, что систематически только бездарные и безличные люди попадали на первые места в военной иерархии, а Тотлебенам и Нахимовым доставались вторые, если не третьи, — это так до конца сам Паскевич, один из столпов николаевского режима, любимец Николая, которого царь всегда называл своим «отцом-командиром», может быть, и не продумал. Говорим: «может быть», потому что все-таки в этом его предсмертном проклятьи Горчакову есть такие слова: «Признаюсь, я виноват пред отечеством, что был отчасти причиной возвышения вашего на ту степень, на которой вы находитесь... будучи обязан в действиях моих отдать отчет потомству, я откровенно сознаюсь в моей ошибке и прошу соотечественников моих простить мне, что я, в заблуждении моем, еще в 1854 году считал ваше сиятельство способным быть самостоятельным начальником»[1].

Итак, редуты и Камчатский люнет, эти контрапроши, так сильно защищавшие Малахов курган, оказались во власти неприятеля.

Для Нахимова и Тотлебена вывод отсюда был ясен: нужно еще удвоить усилия по обороне, потому что теперь следует ждать со дня на день общего штурма Севастополя. Этот вывод радикально расходился с тем заключением, которое извлек из этого события главнокомандующий Горчаков: уже 27 мая (8 июня) 1855 года, то есть на другой день после потери редутов и люнета, полетело в Петербург его донесение, в котором он высказывает намерение сдать Севастополь и даже заявляет, что желает тотчас же начать работы по переправе войск на Северную сторону. А Южную (то есть город Севастополь с укреплениями) — оставить неприятелю. С этого времени положение уже не менялось. Горчаков все выискивает способы, как поудобнее, с наименьшим материальным и моральным ущербом для русских войск, сдать Севастополь, — а Нахимов и его матросы и солдаты не желали об этом и слышать, и так же, как в октябре и ноябре 1854 года Меншиков, так теперь, весной 1855 года, Горчаков просто не осмеливался вслух заговорить о сдаче, а только делился этими своими предположениями с Петербургом.

XIII

Известие о падении трех русских контрапрошей, Камчатского люнета и Селенгинского и Волынского редутов, произвело неодинаковое впечатление в Лондоне и Париже.

[1] Это письмо появилось в полном виде впервые в «Русской старине» в 1883 году (ноябрь), то есть спустя почти тридцать лет после событий, которыми оно было вызвано.

В Лондоне в общем держались того же мнения, какое выразил участник войны, состоявший в штабе лорда Раглана, Чарльз Кинглэк и которого придерживался не только английский штаб, но и штаб французский, — еще когда только Пелисье решал вопрос о штурме этих трех русских контрапрошей, в особенности же вопрос о штурме Камчатского люнета: «...Это дерзко воздвигнутое на холме укрепление, посредством которого гений Тотлебена долго прикрывал Малахов курган, теперь, наконец, должно было испытать вызов. Не взять Камчатский люнет даже после такого могущественного усилия, как то, которое решил сделать Пелисье, было бы удручающим несчастьем (a disheartening calamity)»[1].

Союзникам удалось взять люнет, и все в осаждающей армии посмотрели на это, как на большой шаг к взятию Малахова кургана, а, следовательно, и Севастополя. И когда получилось известие об этом успехе, то королева Виктория поспешила в самых теплых выражениях поздравить и лорда Раглана, и генерала Пелисье, и, прежде всего, конечно, своего августейшего союзника Наполеона III.

Но Наполеон III был недоволен. Он уже настолько теперь удостоверился в близкой победе, что требовал от своего нового главнокомандующего, чтобы тот разбил наголову русскую армию, стоящую вне Севастополя, затем устроил полное окружение Севастополя, то есть отрезал бы его также и с северной стороны от остальной России, и принудил к быстрой капитуляции. Император, очевидно, очень уж поверил берлинским известиям о полном русском истощении. Поэтому он даже не послал поздравительной телеграммы генералу Пелисье, а воспользовался устроенным союзниками телеграфом, соединявшим уже французский лагерь с Парижем, совсем для другого рода послания, которое Пелисье получил через семь дней после взятия двух редутов и люнета, — именно 14 (2) июня 1855 года. «Перед тем, как поздравить вас с блестящим успехом, который вы одержали, я хотел знать, каких жертв это стоило. Я узнаю эту цифру через Петербург... Я восхищаюсь храбростью войск, но я замечу вам, что правильная битва, которая бы решила участь Крыма, не могла бы стоить нам большей потери людей. Итак, я настаиваю на приказании, которое я вам передал через военного министра: употребить все ваши усилия, чтобы решительно повести кампанию (pour entrer résolument en campagne)».

Вероятно, именно получив эту телеграмму, генерал Пелисье и разразился знаменитым приписываемым ему восклицанием: «О, если бы уж скорее русские догадались найти и разрушить нашу телеграфную проволоку!» Это он имел в виду подводный кабель, с 15 (27) апреля, соединивший французский лагерь под Севастополем с городом Варной, а, следовательно, и с Парижем.

Пелисье, очень приободренный успешным штурмом трех русских контрапрошей 26 мая (7 июня), а с другой стороны, тесни-

[1] «The invasion of Crimea», т. VIII, стр. 103.

мый и раздражаемый упорными телеграфными требованиями императора, чтобы он сначала разбил и уничтожил русскую армию, а потом со всех сторон замкнул линию осады вокруг города, считая вместе с тем этот проект, выработанный в Париже, совершенно нелепым и неисполнимым, — решил действовать немедленно согласно своему, а не императорскому плану. Он задумал тотчас же, только дав войскам на несколько дней отдых, предпринять не более и не менее, как общий штурм русской оборонительной линии — и взять Севастополь.

Когда в послеобеденные часы 5 (17) июня сначала во французском, а потом в английском лагере разнеслась весть, что на другой день назначен общий штурм, то солдаты приняли это с большим удовлетворением. Измучившая их тяжкая осада могла вдруг, в несколько часов, окончиться. В победе очень мало кто сомневался. И Пелисье, и Раглан были весьма довольны своей затеей: они решили неспроста взять Севастополь именно 18 июня, в годовщину битвы при Ватерлоо, ровно, день в день, спустя сорок лет после рокового для Наполеона I последнего его сражения с англичанами. Лорд Раглан потерял руку в битве при Ватерлоо, Пелисье — служил теперь государю, который являлся племянником Наполеона I. В годовщину такого дня одержать вместе, совокупными силами, большую победу над русскими, взять грозный Севастополь, представлялось обоим главнокомандующим символом тесной дружбы между Англией и Францией.

Здесь не место подробно описывать событие 6 (18) июня 1855 года. Достаточно напомнить главное.

В течение предыдущего дня, 5 (17) июня, шла усиленная бомбардировка города и с суши и с моря, а ночью часть парового флота союзников (десять судов) начала усиленно обстреливать Южную сторону. Бомбардирование не прекращалось уже с полуночи ни на один час. И вдруг, совсем неожиданно не только для русских, но и для союзников, в 3 часа ночи начался штурм. Дело в том, что генерал Мейран по ошибке принял одну ракету за условленный сигнал и бросился со своей дивизией вперед.

Русские встретили штурмующие колонны убийственным, очень метким огнем. Французы были отброшены с громадными потерями, и одновременно Пелисье получил точные сведения, что с моря шесть русских судов громят Киленбалку и расположенные там французские резервные полки.

Несмотря на эту тяжкую неудачу в самом начале дела, Пелисье энергично продолжал повторные штурмы. По крайней мере, пять штурмов (из них несколько на Малахов курган) были произведены союзниками уже в первые часы этого кровавого дня, и все пять были блистательно отбиты русскими. Шестой штурм, снова направленный на Малахов курган, казалось, сулил французам успех: штурмующая колонна уже ворвалась в одну батарею (№ 6, батарея Жерве), переколола часть находившегося

там батальона Полтавского полка, вытеснила остаток батальона и бросилась дальше, но тут подоспел генерал Хрулев. Предоставим дальше слово Тотлебену: «Схватив возвращавшуюся с работ 5-ю мушкетерскую роту Севского полка — 138 человек, под командой штабс-капитана Островского, Хрулев построил ее за ретраншементами и со словами: «Благодетели мои, в штыки! За мной! Дивизия идет на помощь!» — двинул их на неприятеля». Солдаты бросились в штыки. После отчаянного рукопашного боя французы были отчасти перебиты, отчасти отброшены прочь. Из 138 солдат русской роты, которая первая, не ожидая еще подмоги, бросилась на неприятеля, были перебиты 105 человек, во главе с Островским.

После этого шестого штурма последовало еще три — все на батарею Жерве, — и все три были отбиты русскими. Тут геройскую роль сыграл Нахимов со своими адъютантами. Так же блестяще русские отбили и англичан, ходивших на приступ на 3-й бастион и еще на батареи на Пересыпи. К вечеру неприятель, отбитый на всех пунктах, ушел окончательно в свои траншеи.

Русские защитники Севастополя одержали самую полную победу, какую только могут одержать осажденные над осаждающими, — победу, объясняемую не только героизмом русских войск, но и многочисленными ошибками французского и английского командования. Французы потеряли в этот день около 5 тысяч человек (2 тысячи убитых и около 3 тысяч раненых), англичане — больше 2 тысяч человек (из них около 400 убитых и 1600 раненых). Но и русские потери были тяжелы: около 4720 человек, из них около 780 убитых, 3132 раненых, 815 контуженных.

Севастопольский гарнизон сильно приободрился после этой, в самом деле блестящей победы. Однако июнь принес Севастополю не только радость победы, но и два несчастья.

Уже 6 (18) июня, в день штурма, Тотлебен был контужен. Но он бодрился и не хотел лечь в постель. На этот раз беду еще пронесло, но спустя два дня, 8 (20) июня, осматривая батарею Жерве, он был ранен и тут уже очень тяжело. Тотлебен выбыл из строя, и жизнь его временами была в опасности, хотя вначале все-таки силился на одре страданий принимать участие в работе, даже когда его увезли из Севастополя. Нахимов остался отныне один.

Во время штурма 6 (18) июня Нахимов побывал и в самом опасном месте — на Малаховом кургане, уже после Хрулева. Французы ворвались было снова на подступах к кургану, ряд командиров были переколоты немедленно, солдаты сбились в кучу... Нахимов и два его адъютанта скомандовали: «В штыки!» — и выбили французов. Для присутствовавших непонятно было, как мог уцелеть Нахимов в этот день. Это произошло уже после хрулевской контратаки, и Нахимов, таким

образом, доверишл в этот день дело спасения Малахова кургана, начатое Хрулевым.

Вообще это кровавое поражение союзников 18 (6) июня 1855 года, когда был отбит с громадными для них потерями штурм 3-го и 4-го отделений русской оборонительной линии, покрыло новой славой имя Нахимова. Малахов курган только потому и мог быть отбит и остался в русских руках, что Нахимов во-время измыслил и осуществил устройство особого, нового моста, укрепленного на бочках, по которому в решительные часы перед штурмом и перешли спешно отправленные подкрепления из не атакованной непосредственно части на Корабельную сторону (где находится Малахов курган). Нахимов затеял постройку этого моста еще после первого бомбардирования Севастополя 5 октября, когда в щепки был разнесен большой мост через Южную бухту, покоившийся на судах. Этот новый мост, покоившийся на бочках, оказал неоценимые услуги, и поправлять его было несравненно легче и быстрее, чем прежний мост.

Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, начальник севастопольского гарнизона, был в полном восторге от поведения Нахимова и до и после блестящей русской победы, какой даже и враги считали неудачный для них штурм 6 июня. Нужно сказать, что этот генерал Остен-Сакен в своем отношении к Нахимову был человеком совсем другого типа, чем, например, Меншиков или Горчаков. Как военный он был, пожалуй, еще меньше взыскан дарами природы, чем оба упомянутые главнокомандующие, последовательно друг друга сменившие за время осады. У барона Остен-Сакена было, повидимому, в самом деле нечто вроде религиозной мании, и это обстоятельство еще более подрывало скромные умственные ресурсы этого злополучного военоначальника. Остен-Сакена горячо хвалили за благочестие в Москве и Петербурге и впоследствии клубные баре не переставали задавать ему восторженные обеды и поздравительные ужины, однако в Севастополе во время осады офицеры считали его мужем хотя и богобоязненным, но совершенно бесполезным и называли пренебрежительно-фамильярно Ерофеичем. На гарнизон, которым он командовал, он ни малейшего влияния не имел. Ни солдаты, ни тем более матросы, как уже сказано раньше, просто его не знали. Офицеры, даже склонные к мистике перед ежечасно летавшей вокруг них и над ними огненной смертью, считали все-таки, что для молитв, бдений, коленопреклонений, акафистов, ранних обеден, поздних вечерен — существует протоиерей Лебединцев, а начальнику гарнизона следует заниматься вовсе не этим, но совсем другими, гораздо более трудными, сложными и опасными предметами.

Вообще же после падения трех контрапрошей Остен-Сакен стал гораздо больше считаться с Нахимовым и Васильчиковым. Нахимов, Васильчиков, Тотлебен — вот кто фактически управлял защитой весной и в начале лета 1855 г. М. Д. Горчаков уже

переписывался с Александром II о сдаче Севастополя и меньше проявлял активного интереса к вопросам обороны, предоставив Остен-Сакену не управление военными действиями, потому что Остен-Сакен ничем не управлял, — но издание приказов и отдачу распоряжений, которые будут продиктованы теми же Нахимовым, Васильчиковым и Тотлебеном. «7 июня граф Сакен был у меня», читаем в дневнике одного из участников обороны: «и я просил его о некоторых разрешениях мне по разным предметам. «Пойду домой, обдумаю это», отвечал он, то есть без Васильчикова и Тотлебена не может решиться разрешить сам ничего» [1].

А как мечтали защитники Севастополя о настоящем вожде! Как они льнули душевно к Нахимову, который один у них остался после гибели Корнилова и Истомина и после раны Тотлебена! Как разочаровались они в тех, кто повелевал всем и владычествовал и над Тотлебеном и над подчиненными адмиралами Корниловым, Истоминым, Нахимовым, как изверились они во всех этих придворных вельможах Меншиковых, аккуратно ведущих канцелярию и корреспонденцию Горчаковых, бьющих об пол лбом пред иконой по три раза в сутки.

Подобно тому, как в свое время Меншиков решительно не мог не понять, что ему никак не уйти от неприятной обязанности представить Нахимова к Белому Орлу, так и Остен-Сакен и Горчаков пред лицом гарнизона, который видел, что делает ежедневно и еженощно Нахимов и что сделал он в день штурма 6 (18) июня, поняли свой повелительный долг. Но надо отдать должное Остен-Сакену. Он никогда не соревновался с Нахимовым и даже не завидовал Нахимову: слишком уж, прямо до курьеза, несоизмеримо было их моральное положение в осажденной крепости и их военное значение. И чувствуется, что Остен-Сакен и Горчаков сами хотят греться в лучах нахимовской славы, когда мы читаем приказ по войскам, отданный после победоносного боя 6 (18) июня: «Доблестная служба помощника моего, командира порта адмирала Нахимова, одушевляющего примером самоотвержения чинов морского ведомства и столь успешно распоряжающегося снабжением обороны Севастополя, — известна всей России. Но не могу не упомянуть, что подкрепления, посланные на атакованную часть Севастополя, разделенную Южной бухтою, переходили по устроенному адмиралом Нахимовым пешеходному мосту на бочках, без чего Корабельная сторона, вмещающая в себе Малахов курган — ключ позиции, — могла пасть, ибо прежний мост на судах легко был поврежден неприятельскими выстрелами и в одиннадцатидневное бомбардирование помянутое сообщение было прервано».

Ничего нового о Нахимове Севастопольскому гарнизону этот приказ не сказал. Вот случайно записанный очевидцами и слу-

---

[1] Рукописи о Севастопольской обороне, собранные цесаревичем, III, 303.

чайно поэтому дошедший до нас эпизод, прямо относящийся к этому кровавому дню июньской русской победы. «Каждый из храбрых защитников после жаркого дела осведомлялся прежде всего: жив ли Нахимов, и многие из нижних чинов не забывали своего отца-начальника даже и в предсмертных муках. Так, во время штурма 6 июня один из рядовых пехотного графа Дибича — Забалканского полка лежал на земле близ Малахова кургана. «Ваше благородие! А, ваше благородие!» — кричал он офицеру, скакавшему в город. Офицер не остановился. «Постойте, ваше благородие! — кричал тот же раненый в предсмертных муках: — Я не помощи хочу просить, а важное дело есть!» Офицер возвратился к раненому, к которому в то же время подошел моряк. «Скажите, ваше благородие, адмирал Нахимов не убит?» — «Нет»... — «Ну, слава богу! Я могу теперь умереть спокойно». Это были последние слова умиравшего» [1].

Встал вопрос о новой награде Нахимову. Известно было, как бедно и скудно живет Нахимов, раздающий весь свой оклад матросам и их семьям, а особенно раненым в госпиталях. Во всяком случае, решено было за день 6 июня наградить его денежно. Алексаидр II дал ему так называемую «аренду», то есть очень значительную ежегодную денежную выдачу, независимо от его адмиральского регулярного жалованья.

25 июня царский указ об «аренде» был вручен Нахимову.

«Да на что мне аренда? Лучше бы они мне бомб прислали!» — с досадой сказал Нахимов, узнав об этой награде.

Он сказал это 25 июня. Бомбы ему были нужны в особенности потому, что расход боеприпасов, произведенный 6 июня, еще не был как следует пополнен, а что генерал Пелисье готовится получить близкий реванш за отбитый штурм, в этом сомнений не было.

Вообще мечтать о том, что он будет делать с только что полученной «арендой», Нахимову пришлось недолго, только три дня — от 25 до 28 июня. Но мы точно знаем эти мечты: «Удостоившись по окончании последней бомбардировки Севастополя получить в награду от государя императора значительную аренду, он только и мечтал о том, как бы эти деньги употребить с наибольшей пользой для матросов или на оборону города», — говорят нам источники [2].

Жить ему оставалось в это время лишь несколько суток. Смерть, которой он бросал так упорно вызов за вызовом, теряя счет, уже стояла за его спиной.

XIV

«Берегите Тотлебена, его заменить некем, а я-что-с!» «Не

[1] «Адмирал П. С. Нахимов». СПБ., 1872. Издание Севастопольского отделения на Политехнической выставке.

[2] «Сборник известий, относящихся до настоящей войны», кн. 27, приложения, стр. 88, СПБ, 1856.

беда, как вас или меня убьют, а вот жаль будет, если случится что с Тотлебеном или Васильчиковым!» Это и другое все в том же роде Нахимов повторял настойчиво не только в разговоре с Остен-Сакеном, но всякий раз, как его убеждали не рисковать так безумно, как он стал это делать, в особенности после потери Камчатского люнета и Селенгинского и Волынского редутов. Ведь и на Камчатском люнете в конце концов матросы, не спрашивая, схватили его и вынесли на руках, потому что он медлил, и еще несколько секунд — и он был бы или убит зуавами, или, в лучшем случае, изранен и взят в плен.

Один из храбрейших сподвижников Нахимова по защите Севастополя князь В. И. Васильчиков, давно его пристально наблюдавший, нисколько не обманывался в тайных побуждениях адмирала: «Не подлежит сомнению, что Павел Степанович пережить падения Севастополя не желал. Оставшись один из числа сподвижников прежних доблестей флота, он искал смерти и в последнее время стал более, чем когда-либо, выставлять себя на банкетах, на вышках бастионов, привлекая внимание французских и английских стрелков многочисленной своей свитой и блеском эполет...»

Свиту он обыкновенно оставлял за бруствером, а сам выходил на банкет и долго там стоял, глядя на неприятельские батареи, «ожидая свинца», как выразился тот же Васильчиков.

Генерал-лейтенант М. И. Богданович передает слышанное им лично от адмирала П. В. Воеводского и адмирала Ф. С. Керна (бывших при Нахимове еще капитанами 1-го ранга). Их слова, так же как воспоминания Стеценко, могущественно подтверждают все, что мы знаем из других свидетельств. Нахимов в своих приказах писал, что Севастополь будет освобожден, но в действительности не имел никаких надежд. Для себя же лично он решил вопрос уже давно — и решил твердо: он погибнет вместе с Севастополем.

«Если кто-либо из моряков, утомленный тревожной жизнью на бастионах, заболев и выбившись из сил, просился хоть на время на отдых, Нахимов осыпал его упреками: «Как-с! Вы хотите-с уйти с вашего поста? Вы должны умирать здесь, вы часовой-с, вам смены нет-с и не будет! Мы все здесь умрем, помните, что вы черноморский моряк-с и что вы защищаете родной ваш город! Мы неприятелю здесь отдадим одни наши трупы и развалины, нам отсюда уходить нельзя-с! Я уже выбрал себе могилу, моя могила уже готова-с! Я лягу подле моего начальника Михайла Петровича Лазарева, а Корнилов и Истомин уже там лежат, они свой долг исполнили, надо и нам его исполнить!» Когда начальник одного из бастионов при посещении его части адмиралом доложил ему, что англичане заложили батарею, которая будет поражать бастион в тыл, Нахимов отвечал: «Ну что ж такое! Не беспокойтесь, мы все здесь останемся!»

Как прежде Меншиков, так теперь Горчаков боялся даже заговаривать при Нахимове об оставлении Севастополя.

«Но сам кн. Горчаков не утешал себя... розовыми надеждами. Попрежнему озабочивала его одна мысль — как уменьшить по возможности потерю в наших войсках в случае необходимости оставить Севастополь. Признавая такой печальный конец неизбежным, он не переставал обдумывать план исполнения трудного отступления на Северную сторону. По распоряжению его заготовлялись втайне материалы для постройки гигантского пловучего моста через всю ширину большой бухты, на протяжении 430 сажен. Вскоре потом было приступлено и к самой постройке моста под руководством начальника инженеров ген.-м. Буцмейера, к величайшему негодованию моряков и других истых защитников Севастополя, которые не допускали ни в каком случае возможности оставить эту святыню в руках врагов»[1].

«Узнав о намерении главнокомандующего устроить мост на рейде, Павел Степанович, опасаясь, чтобы это не поселило в гарнизоне мысли об оставлении Севастополя, сказал И. П. Комаровскому: «Видали вы подлость? Готовят мост через бухту! Ни живым, ни мертвым отсюда я не выйду», — повторял он — и сдержал свое слово»[2].

С этим согласуется одна его заветная мечта: остаться с кучкой матросов-единомышленников где-нибудь в невзятой неприятелем укрепленной точке и, даже если город будет сдан, — продолжать сражаться, пока их всех не перебьют. «По своему характеру враг полумер, он при жизни часто говаривал, что, если весь Севастополь будет взят, он со своими матросами продержится на Малаховом кургане еще целый месяц»[3].

Многие странности Нахимова в последние месяцы жизни объяснились лишь потом, когда стали вспоминать и сопоставлять факты. Никто, кроме Нахимова, не носил эполет в Севастополе: французы и англичане били прежде всего в командный состав. И никто долго понять не мог упорства Нахимова в этом вопросе о смертельно-опасных золотых адмиральских эполетах, — Нахимова, который так небрежно относился всегда к костюму и украшениям, так глубочайше равнодушен был к внешнему блеску и отличиям.

Поведение Нахимова давно уже, особенно после падения Камчатского люнета и двух редутов, вообще обращало на себя внимание окружающих, и они не знали, как объяснить некоторые

---

[1] Библиотека им. Ленина. Рукописное отделение, М. 7812. Записки Д. А. Милютина, листы 287 и 288.

[2] «Восточная война», т. III, стр. 406. СПБ. 1876, генерал-лейтенант Модест Богданович построил все свое изложение обстоятельств гибели Нахимова на собранных им показаниях очевидцев, с которыми он лично беседовал. Он дополняет рассказ Белавенца.

[3] Одесский исторический архив, 1138, архив № 23, Зеленого. Заметки Милошевича о Крымской кампании. Рукопись на листах 18—46.

его поступки. Насколько Нахимов был прямо враждебен всякому залихватскому показному молодечеству — это хорошо знали все еще до того, как он особым приказом потребовал от офицеров, чтобы они не рисковали собой и своими людьми без прямой необходимости. Поэтому либо просто удивлялись, не пробуя пускаться в объяснения, либо говорили о фатализме. «При этом он (Нахимов) был в высшей степени фаталист, — пишет один из наблюдавших его севастопольцев, [1] — посещая наше отделение, он всякий раз непременно ходил на банкет в различных местах, чтобы взглянуть на неприятельские батареи, но никогда в таких случаях не ходил по траншеям, а всегда по площадкам, где пули скрещивались беспрерывно. Однажды, когда он хотел пройти с левого фланга в мой блиндаж, Микрюков сказал ему: «Здесь убьют, пойдемте через траншеи». Он отвечал: «Кому суждено...» — «А вы — фаталист?» — заметил я. Он промолчал — и пошел все-таки по открытой площадке, то есть прямо под прицельные французские пули, для которых неспешно шагавшая высокая фигура с блестевшими на солнце золотыми эполетами была превосходной мишенью».

28 июня Нахимов верхом поехал с двумя адъютантами смотреть третий и четвертый бастионы, по дороге отдавая распоряжения обычного «бытового» характера: командиру третьего бастиона, куда как раз ехал Нахимов, лейтенанту Викорсту, только что оторвало ногу, нужно было назначить другого и т. д. Одного из адъютантов адмирал отправил с распоряжениями. «Оставшись вдвоем, — рассказал лейтенант Колтовской, его сопровождавший, лейтенанту Белавенцу, — мы поехали сперва на 3-е отделение, начиная с батареи Никонова, потом зашли в блиндаж к Панфилову, напились у него лимонаду и отправились с ним же на третий бастион». Осмотрев его и еще остальную часть 3-го отделения «под самым страшным огнем», Нахимов поехал шагом на 4-е отделение.

Бомбы, ядра, пули летели градом вслед Нахимову, который был «чрезвычайно весел» против обыкновения и все говорил адъютанту, не желавшему отъехать от него: «Как приятно ехать такими молодцами, как мы с вами! Так нужно, друг мой, ведь на все воля бога! Что бы мы тут ни делали, за что бы ни прятались, чем бы ни укрывались — мы этим показали бы только слабость характера. Чистый душой и благородный человек будет всегда ожидать смерти спокойно и весело, а трус боится смерти, как трус». Сказав это, Нахимов вдруг задумался.

Нахимов поехал на 3-й бастион именно потому, что узнал о начавшемся усиленном обстреле этого укрепления. Прибыв на бастион, Нахимов сел на скамью у блиндажа начальника вице-адмирала Памфилова. «Кругом стояло несколько флотских и пехотных офицеров, толковали о служебных делах. Вдруг раздался крик сигналиста: бомба! Все бросились в блиндаж, кроме

[1] Рукописи о Севастопольской обороне, т. III, стр. 402—403.

Нахимова, который беспрестанно твердя своим подчиненным о благоразумной осторожности и самосохранении, сам остался на скамье и не пошевельнулся при взрыве бомбы, осыпавшей осколками, землей и камнями то место, где прежде стояли офицеры. Когда миновала опасность, все вышли из блиндажа, разговор возобновился, о бомбе и в помине не было»[1].

С 3-го бастиона Нахимов и Колтовский отправились дальше.

Но вот оба всадника оказались уже на Малаховом кургане и на том именно бастионе, где пал 5 октября Корнилов и который с тех пор назывался Корниловским. Нахимов тут соскочил с коня, матросы и солдаты бастиона сейчас же окружили его.

«Здорово, наши молодцы! Ну, друзья, я смотрел вашу батарею, она теперь далеко не та, какой была прежде, она теперь хорошо укреплена! Ну, так неприятель не должен и думать, что здесь можно каким бы то ни было способом вторично прорваться. Смотрите же, друзья, докажите французу, что вы такие же молодцы, какими я вас знаю, а за новые работы и за то, что вы хорошо деретесь, — спасибо!» На матросов, по наблюдению окружавших, навеки запомнивших все, что случилось в роковой день, речь и уж самое появление их общего любимца произвели обычное бодрящее, радостное впечатление. Поговорив с матросами, Нахимов отдал приказания начальнику батареи и пошел по направлению к банкету, у вершины бастиона. Его догнали офицеры и всячески стали задерживать, зная, как он в последнее время ведет себя на банкетах. Начальник 4-го отделения прямо заявил Нахимову, что «все исправно» и что ему нечего беспокоиться, хотя Нахимов ни его и никого вообще ни о чем не спрашивал, а шагал все вперед и вперед.

Капитан Керн, не зная прямо, что придумать, чтобы увести Нахимова от неминуемой смерти, сказал, что идет молитвенная служба в бастионе, так-как завтра праздник Петра и Павла (именины Нахимова), так вот, неугодно-ли пойти послушать? «Я Вас не держу-с!» ответил Нахимов.

Дошли до банкета. Нахимов взял подзорную трубу у сигнальщика — и шагнул на банкет. Его высокая сутулая фигура в золотых адмиральских эполетах показалась на банкете одинокой, совсем близкой, бросающейся в глаза мишенью прямо перед французской батареей. Керн и адъютант сделали еще последнюю попытку предупредить несчастье и стали убеждать Нахимова хоть пониже нагнуться или зайти к ним за мешки, чтобы смотреть оттуда. Нахимов, не отвечая, стоял совершенно неподвижно и все смотрел в трубу в сторону французов. Просвистела пуля, уже явно прицельная, и ударилась около самого локтя Нахимова в мешок с землей. «Они сегодня довольно метко стре-

---

[1] Алабин, Походные записки, II, 284; М. И. Богданович, «Вост. война», III, 400—401 и согл. Генерал Богданович лично слышал обо всем, что случилось в роковой день от капитана I ранга Керна.

ляют», — сказал Нахимов и в этот момент грянул новый выстрел. Адмирал без единого стона пал на землю, как подкошенный.

Штуцерная пуля ударила в лицо, пробила череп и вышла у затылка.

Он уже не приходил в сознание. Его перенесли на квартиру. Прошел день, ночь, снова наступил день. Лучшие наличные медицинские силы собрались у постели. Он изредка открывал глаза, но смотрел неподвижно и молчал. Наступила последняя ночь, потом утро 30 июня 1855 года. Толпа молчаливо стояла около дома. Издали грохотала бомбардировка.

Вот показание одного из допущенных к одру умирающего.

«Войдя в комнату, где лежал адмирал, я нашел у него докторов, тех же, что оставил ночью, и прусского лейбмедика, приехавшего посмотреть на действие своего лекарства. Усов и барон Крюденер снимали портрет; больной дышал и по временам открывал глаза. Но около 11 часов дыхание сделалось вдруг сильнее; в комнате воцарилось молчание. Доктора подошли к кровати. «Вот наступает смерть», — громко и внятно сказал Соколов, вероятно, не зная, что около меня сидел его племянник П. В. Воеводский... Последние минуты Павла Степановича оканчивались. Больной потянулся в первый раз, и дыхание сделалось реже... После нескольких вздохов снова вытянулся и медленно вздохнул... Умирающий сделал еще конвульсивное движение, еще вздохнул три раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха. Но прошло несколько тяжких мгновений — все взялись за часы, и, когда Соколов громко проговорил: «Скончался», — было 11 часов 7 минут... Герой Наварина, Синопа и Севастополя, этот рыцарь без страха и укоризны, окончил свое славное поприще»[1].

Матросы толпились вокруг гроба целые сутки днем и ночью, целуя руки мертвеца, сменяя друг друга, уходя снова на бастионы и возвращаясь к гробу, как только их опять отпускали. Вот письмо одной из сестер милосердия, живо восстанавливающее пред нами переживавшийся момент.

«... Во второй комнате стоял его гроб золотой парчи, кругом много подушек с орденами, в головах три адмиральских флага сгруппированы, а сам он был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы... По загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. Да и с тех пор я не видела ни одного моряка, который бы не сказал, что с радостью лег бы за него»[2].

Похороны Нахимова навсегда запомнились очевидцами:

---

[1] «Кронштадтский вестник», 1868, № 17.

[2] «Извлечение из письма, крестовоздвиженской общины сестры Г. Б. «Морской сборник», 1855, № 9, стр. 73.

«Никогда я не буду в силах передать тебе этого глубокого, грустного впечатления... Море с грозным и многочисленным флотом наших врагов... Горы с нашими бастионами, где Нахимов бывал беспрестанно, ободряя еще более примером, чем словом... И горы с их батареями, с которых так беспощадно они громят Севастополь и с которых они и теперь могли стрелять прямо в процессию; но они были так любезны, что во все это время не было ни одного выстрела. Представь же себе этот огромный вид, и над всем этим, а особенно над морем, мрачные, тяжелые тучи, только кой-где вверху блистало светлое облако. Заунывная музыка, грустный перезвон колоколов, печально-торжественное пение... Так хоронили моряки своего Синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника»[1].

Роковое для севастопольской обороны значение гибели Нахимова поняли все. «28 июня — печальный день — убит П. С. Нахимов. Число геройских защитников Севастополя редело, да и не было таких влиятельных, как покойный Нахимов, а между тем Горчаков настойчиво торопил подготовить отступление от Севастополя; и потому рвение защитников Севастополя слабело», — читаем в черновых заметках Ухтомского

Морской командный состав лучше всех понял сразу же грозное значение гибели Нахимова.

«Неприятели все строят новые и новые батареи, роют траншеи, и теперь нет места в городе, куда бы не попадали их ядра, даже залетают чрез весь город на Северную сторону, и кажется, что нам придется лишиться остальных своих кораблей, да, кстати, на них некому будет плавать, а главное — некому будет водить флот. Лучшие наши адмиралы все убиты. ... Вчера вечером нас постигло большое горе, Нахимов ранен пулей в голову. Потеря эта велика для всей России, а для нас необъятна. Верно мы чересчур прогневили бога, что он в самые критические минуты лишает нас таких людей, которых мы лишились в эту войну», писал капитан Чебышев своей жене тотчас после получения известия о ране Нахимова: «Теперь Нахимов оставил нас, когда окончательно решается участь Севастополя и участь Черноморского флота, который ему обязан своею славой и всеми наградами. Он сделал больше, чем может сделать человек, кроме того что он добросовестно работал всю жизнь, последние 2 года он умирал по 100 раз в день и умер только раз. Но главное — он не только сам, но и нас, от офицера до последнего арестанта, приучал на это смотреть не так, как на заслугу, но как на долг, на обязанность. Вот будут рады турки, французы, когда узнают, что он убит, и ошибутся, потому, что дух его не убит, а надолго останется с нами... Счастливы те, которые вначале перебрались в вечность, счастливее те, которые с ранами уехали с побоища, еще счастливее будет тот, кто дождется до конца.

[1] Там же, стр. 74.

Отстоим Севастополь и тогда с чистой совестью приедем на отдых»[1].

Мучившийся сам от своей тяжелой раны Тотлебен уже 29 июня узнал о смертельной ране Нахимова, о том, что надежды нет. «Вчера вечером Нахимов опасно ранен в голову на Малаховом кургане, — пишет он жене. — Это печальное событие глубоко меня потрясло. Нахимова я любил, как своего отца. Этот человек делал невероятно много, его все любили, все высоко ценили. Пользуясь его влиянием во флоте, мы осуществили многое, что казалось невозможным. Он был вроде патриотов классической древности, он безгранично любил Россию и всегда был готов всем пожертвовать для чести своего отечества, как некоторые возвышеннейшие патриоты из древних греков и древних римлян. И при этом какое нежно чувствующее сердце! Как заботился он обо всех страдающих! Он всех посещал, всем помогал...»[2]. «Хозяин Севастополя» исчез и хотя в осажденном городе, ежедневно и еженощно осыпаемом разрывными и зажигательными бомбами, успели за девять месяцев, протекшие от начала осады до гибели Нахимова, более чем достаточно привыкнуть к смерти, — но к этой смерти никак не могли привыкнуть и не могли примириться с ней. Приведем свидетельство, самое простое и самое правдивое.

«Вообще многомесячное, ежеминутное стояние лицом к лицу со смертью установило в отношениях наших к ней некоторую фамильярность», пишет в своих воспоминаниях один из севастопольских героев Вязмитинов: — «Трагизм смерти почти вовсе утратился». Сидят, например, Вязмитинов с ротным командиром М. около траверза. «За траверзом раздался взрыв бомбы и крик. М. послал вблизи стоящего унтер-офицера узнать, что случилось. — Ничего, ваше благородие, отвечал тот возвратившись, черепком только немного у штуцера приклад откололо! — Да что штуцер! Человек-то что? — Унтер-офицер посмотрел на нас недоуменно. — Человек? Да человека, известно, убило, — отвечал он, удивляясь, что нас могут интересовать такие пустяки»... Со смертью, увечьями, ранами вполне освоились: «Только одна рана и одна смерть заставила застонать весь Севастополь», свидетельствует Вязмитинов: «28 июня вечером командир нашего редута получил записку и сообщил нам о смертельной ране Павла Степановича Нахимова, прося нас не объявлять пока об этом матросам и солдатам. Старались, чтобы слух об этом несчастьи сколько возможно долее не дошел до матросов, зная, какое подавляющее впечатление произведет на них известие, что обожаемого ими Павла Степановича они уже не увидят. 30-го мы узнали, что самого любимого и самого популярного человека на Черноморьи не стало».

[1] Г. А. Ф. К. Э. Ф. 32, д. 186, лл. 5—6. Выписка из письма с подписью «твой муж» из Севастополя от 29 июня 1855 г. к Юлии Григорьевне Чебышевой в Сухиничи.

[2] П. Б., рукописное отделение, А. Ш., П., 3, № 2. Письма Тотлебена. Письма на немецком языке. 29 июня 1855 г. (Картон 3).

Потрясена была и вся Россия.

«Нахимов получил тяжкую рану! Нахимов скончался! Боже мой, какое несчастье! Эти роковые слова не сходили с уст у московских жителей в продолжение трех последних дней. Везде только и был разговор, что о Нахимове. Глубокая, сердечная горесть слышалась в беспрерывных сетованиях. Старые и молодые, военные и невоенные, мужчины и женщины — показывали одинаковое участие», — писал московский историк Погодин после получения фатального известия.

«Был же уголок в русском царстве, где собрались такие люди, — говорил Т. Н. Грановский, узнав о гибели Нахимова. — Лег и он. Что же? Такая смерть хороша; он умер в пору. Перед концом своего поприща вызвать общее сочувствие к себе и заключить его такой смертью... Чего же желать более, да и чего бы еще дождался Нахимов? Его недоставало возле могил Корнилова и Истомина. Тяжела потеря таких людей, но страшнее всего, чтобы вместе с ними не погибло в русском флоте предание о нравах и духе таких моряков, каких умел собрать вокруг себя Лазарев».

Если первым явственным ударом погребального колокола по Севастополю была потеря Камчатского люнета и двух соседних редутов, то вторым было тяжелое ранение Тотлебена, а третьим, бесспорно, была гибель Нахимова. Смерть знаменитого адмирала явилась в полном смысле слова началом конца Севастополя. В России это поняли, повидимому, все, следившие за титанической борьбой, а больше всего — принимавшие в ней прямое участие.

Твердыня, за которую Нахимов отдал жизнь, не только стоила врагам непредвиденных ими ужасающих жертв, но своим, почти год длившимся, отчаянным сопротивлением, которого решительно никто не ожидал ни в Европе, ни у нас, совсем изменила все былое умонастроение неприятельской коалиции, заставила Наполеона III немедленно после войны искать дружбы с Россией, принудила враждебных дипломатов, к величайшему их раздражению и разочарованию, отказаться от самых существенных требований и претензий, фактически свела к ничтожному минимуму русские потери при заключении мира, — и высоко вознесла моральный престиж русского народа. Это историческое значение Севастополя с несомненностью стало определяться уже тогда, когда Нахимов, покрытый кровью и славой, лег в могилу.

Редактор *Ц. М. Подгорненская*

Подписано к печати 11/VIII-42 г. Тираж 5000. 8 печ. листов. 8,44 уч.-изд. листа.
РИСО № 1997. Заказ № 0188, ПФ 2552. Цена 6 руб.

Отпечатано в книжной ф-ке им. Камиль Якуб, Казань, Дом печати, 1942

Цена 6 рублей.